ПОКА ОСТЫВАЕТ КОФЕ

РАЗВОД. АДМИРАЛ НЕ ПРОДАЁТСЯ



Он купил её бюро.
Вместе с её тайной.

ЭНН ГРЕЙ

РОМАНТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР

16+

Энн Грей

Развод. Адмирал не продаётся

«Автор»
2026

Грей Э.

Развод. Адмирал не продаётся / Э. Грей — «Автор», 2026

— Я выкуплю вдвое дороже.— Нет.— Отреставрирую даром.— Нет. Потому что оно моё.Он купил бабушкино бюро Вари на торгах: муж объявил себя банкротом и пустил с молотка всё, что у неё было, вместе с мастерской.Контр-адмиралу запаса пятьдесят четыре. Он встаёт в шесть, меряет всё рулеткой и разрешает Варе работать над бюро только у себя дома, при нём, в кабинете на Васильевском. Варе тридцать шесть, и сказать адмиралу правду она не может: в тайнике бюро лежат бумаги, и они докажут, что банкротство мужа фальшивое. За этими бумагами охотится не только она.А у адмирала своя тайна. Он ни разу не выходит из кабинета, пока она работает. Ночью кто-то царапает замок его двери. И когда Варя наконец остаётся с бюро одна, тайник оказывается пуст.Романтический триллер 16+.

© Грей Э., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Узкая дверь 5
Глава 2. Полироль 9
Глава 3. Шпон режется 13
Глава 4. Шесть сантиметров 18
Глава 5. Читать с конца 23
Глава 6. По-хорошему 28
Глава 7. Прихожая 33
Глава 8. Ключ в замке 37
Глава 9. Пусто 41
Конец ознакомительного фрагмента. 45

Энн Грей
Развод. Адмирал не продаётся

Глава 1. Узкая дверь

Грузчиков было двое, и оба взялись за бюро так, как берутся за холодильник.

— Не за доску! — сказала я. — Ребята, доска на петлях, вы её сорвёте.

Старший посмотрел на меня поверх бюро так, как смотрят на голубя, который сел на капот. Младший не посмотрел вообще. Он был в наушниках.

— Варвара Андреевна, — сказал у меня за спиной Журавлёв. — Пожалуйста. Вы здесь как собственник помещения. Не как… — Он поискал слово. — Не как мастер.

Хорошее слово нашёл. Пять лет это была моя мастерская. Первый этаж бывшего ткацкого корпуса на Обводном, окна во двор, в окнах по утрам кирпичная стена напротив, розовая, как пастила. Мои верстаки, мои банки с кистями, моя клеянка, купленная на блошином рынке за триста рублей у деда, уверявшего, что она помнит Николая Второго. Мастерская записана на меня, но куплена в браке, а значит, по закону она наша общая с Костей. С октября всё это было не моё. С октября на двери висел чужой замок, а на замке бумажная пломба с подписью Журавлёва.

Мою мастерскую забирали за долги моего мужа. Настоящих долгов у мужа не было. Были расписки друзьям, которым он вдруг, за одну весну, задолжал столько, сколько не зарабатывал за пять лет, и суд, который этим распискам поверил. Костя объявил себя банкротом. Журавлёв был финансовый управляющий: суд назначил его продать всё наше общее и раздать деньги этим друзьям. Вежливый, в сером пальто, с портфелем, ручка перемотана синей изолентой. Он мне даже нравился. Насколько может нравиться человек, пришедший описать твою жизнь по пунктам.

Бюро стояло посреди мастерской, освобождённое от плёнки, и было красивое так, что у меня заныло под рёбрами. Красное дерево, тёмное, почти вишнёвое в сером свете из окна. Наклонная доска, под ней три ящика с медными ручками в виде львиных морд. Одной львиной морде не хватало уха: это я в семь лет пыталась открыть ящик плоскогубцами. Бабушка не ругалась. Бабушка сказала: «Вещь помнит всё, Варька. Теперь она будет помнить и тебя».

Бабушка купила его в комиссионке в семидесятых за две зарплаты. Два года назад, когда бабушки не стало, я привезла бюро сюда, чтобы отреставрировать. Не успела. Сначала были заказы, потом был август.

В бюро, за средней секцией, под планкой, о которой знали только я и бабушка, с августа лежала чёрная папка на резинке. Если папку найдут не те люди, я потеряю всё, что у меня ещё осталось. Если её не достану я — тоже.

Я не могла её достать. Шесть недель мастерская стояла под пломбой. Неделю назад бюро продали с торгов отдельным лотом. Сегодня его увозил покупатель.

— Взяли! — скомандовал старший.

Они подняли бюро за доску.

Я сказала «нет» и шагнула к ним одновременно: руки сами пошли ловить доску. Как потом выяснилось, плохая идея. Дверь в мастерскую узкая, ещё фабричная, с железным порогом, на пороге налипла ноябрьская снежная каша со двора. Младший грузчик пятился, не глядя. Каблук у него поехал по каше. Бюро качнулось, тяжело, со стоном, как корабль на волне, и пошло на меня.

Девяносто килограммов красного дерева на сосне, я это знала точно, потому что сама его взвешивала. Я ещё успела подумать, что умру очень профессионально.

А потом над моей головой появилась рука. Большая, в чёрной кожаной перчатке. Она легла на верх бюро и остановила его. Вторая рука упёрлась в косяк рядом с моим лицом. Я оказалась между стеной и бюро, а между мной и бюро оказался мужчина в тёмном пальто. Места для меня оставалось ровно столько, сколько он мне оставил. Пуговица его пальто упиралась мне в щёку.

— Держу, — сказал он у меня над ухом. Негромко и очень спокойно.

От пальто тянуло холодом с улицы. Я слышала, как у него под пальто стучит сердце, ровно, медленно, как будто девяносто килограммов антиквариата он ловит каждое утро вместо зарядки.

— Опустить на себя, — сказал он грузчикам. Тоже негромко, но младший вдруг снял наушники. — Медленно. На раз-два. Раз. Два.

Бюро ушло от меня и встало на пол, мягко, всеми четырьмя ножками. Мужчина убрал руку с косяка и отступил на шаг. Посмотрел на меня сверху вниз.

Он был высокий. Седой, коротко стриженный. Светлые глаза, морщины от ветра у глаз и прямая спина, такую не делают в спортзале. Лет пятидесяти пяти, может, меньше: такие лица долго не меняются, а потом сразу. Шарф был завязан так аккуратно, что мне захотелось его развязать. Просто из вредности.

— Вы целы? — спросил он.

— Я — да, — сказала я. — А оно?

Он чуть повернул голову к бюро. Наклонная доска от толчка откинулась, открылась внутренняя горка: два ряда ячеек для бумаг, маленькие ящички, посередине дверца с латунным ключиком. Я посмотрела туда так быстро, как только могла. Средний ящичек на месте. Под ним планка. Поперёк паза, где планка сходится со стенкой, тонкая тёмная черта: волос, мой собственный, я приклеила его в августе капелькой рыбьего клея, как в шпионском кино. Волос был цел. Никто планку не трогал.

У меня отпустило колени, и я прислонилась к косяку, будто так и задумано.

— Оно тоже, — сказал мужчина. — Вы здесь кто?

— Это моя мастерская.

— Уже нет, — сказал он. Без злости. Просто сообщил.

— Георгий Платонович, — Журавлёв уже стоял рядом, с портфелем у груди, как со щитом. — Это Варвара Андреевна Дёмина, супруга должника, собственник помещения. Она присутствует при передаче… по закону.

— Понятно, — сказал Георгий Платонович.

Мне не понравилось, как он это сказал. Так говорят про течь в трюме: понятно, будем откачивать.

— Вы их неправильно несёте, — сказала я. — Доску надо снять, она на двух петлях, винты родные, если сорвёте — я плакать буду. Ящики вынуть и везти отдельно. Горку не трогать. Стрейч только поверх одеяла, плёнка прилипнет к политуре, потом не отдерёте.

Он смотрел на меня секунды три.

— Вы реставратор?

— Да.

Я ждала, что он скажет «спасибо, мы сами» тем тоном, каким Костя говорил мне «спасибо, зай, мы сами» про всё на свете, от налогов до шуруповёрта.

— Снять доску, — сказал он грузчикам. — Ящики вынуть. Плёнку поверх одеяла. Горку не трогать.

Слово в слово. Я даже растерялась.

Грузчики вдруг стали очень аккуратными. Старший полез за отвёрткой. Я смотрела, как он примеряется к винту, и терпела. Потом не вытерпела.

— Против часовой, — сказала я. — Шлиц старый, он кривой, не сорвите.

— Против часовой, — повторил Георгий Платонович. И грузчик открутил против часовой.

Я встала рядом с ним. Мы смотрели, как снимают доску. Пальто у него было старое и очень хорошее, такие шьют, чтобы носить двадцать лет. На тыльной стороне левой ладони, там, где кончалась перчатка, белел край шрама.

— Сколько вы за него заплатили? — спросила я.

Он назвал сумму. Я знала её, я видела протокол. Но вслух она прозвучала как-то особенно глупо. Втрое дороже начальной цены. Вдвое дороже, чем я когда-нибудь видела на руках.

— Я выкуплю, — сказала я. — Вдвое больше. Не сразу, но выкуплю. Под расписку, под проценты, как хотите.

— Зачем оно вам вдвое?

— Оно бабушкино.

Он посмотрел на меня так, будто я сообщила ему вес груза, а не причину.

— Нет.

— Хорошо. Тогда давайте я его вам отреставрирую. Бесплатно. Его надо реставрировать, вы же видите, у него шпон отходит на боковине, политура вся в сетке, ножка… Я лучше всех в этом городе знаю это бюро. Я на нём букву «Ж» училась писать.

— Нет.

— Почему?

Он посмотрел на меня. Глаза у него были цвета Невы в ноябре, то есть никакого, и это было очень неуютно.

— Потому что оно моё, — сказал он.

И пошёл к выходу, к грузчикам. Те уже несли доску, завёрнутую в одеяло, как младенца.

Вообще-то я умею разговаривать с людьми. У меня клиенты, у меня антиквары, у меня один заказчик, который приезжает в мастерскую на «Бентли» и плачет над стульями своей прабабушки. Я умею ласково. Я умею убедительно. Но с этим человеком не получилось ни того, ни другого, и я стояла посреди своей бывшей мастерской с открытым ртом, как ученица, которой поставили двойку без объяснений.

— Варвара Андреевна, — Журавлёв подошёл ко мне бочком. Он всегда так подходил, будто боялся, что кто-то увидит, как он со мной разговаривает. — Не расстраивайтесь так. Может, ещё договоритесь. Люди его возраста отходят.

— Вы его знаете?

— Нет. Только по документам. — Он оглянулся на дверь, понизил голос. — Островский. Георгий Платонович. Контр-адмирал запаса. Живёт на Васильевском, на Восьмой линии. Дом с эркером, там один такой.

Я уставилась на него.

— Зачем вы мне это говорите?

— Я вам ничего не говорил, — сказал Журавлёв и поправил очки. — Мне тоже не нравится, как это всё выглядит. Я человек подневольный, у меня процедура. Но я же вижу.

Он вздохнул, будто ему было стыдно за весь арбитражный суд сразу, и пошёл проверять, правильно ли расписались грузчики в акте.

Контр-адмирал. Я почему-то так и подумала. Ещё когда он сказал «держу».

Бюро уносили по частям. Сначала доску. Потом ящики, один за другим, со львиными мордами, с безухим львом. Потом корпус с горкой, обмотанный одеялом. Мимо меня проплыла медная накладка на углу, та самая, бабушка полировала её зубным порошком. Я отвернулась и стала смотреть на свои банки с кистями. Кисти в банках из-под кофе, двадцать штук на полке. Их увезут через месяц, вместе с верстаками, вместе со мной, если я буду стоять тут столбом.

Журавлёв запер дверь и аккуратно наклеил новую пломбу. Расписался. Протянул ручку мне.

— Тут, пожалуйста, что присутствовали.

Я расписалась. Почерк вышел дрожащий, как у бабушки в последний год.

Во дворе фургон уже выезжал под арку. За ним, не торопясь, выехала тёмно-серая «Тойота», не новая, но вымытая так, будто её драили щёткой. Водитель смотрел вперёд. Я видела его в профиль одну секунду, и спина у него за рулём была такая же прямая.

Я пошла к своей машине. «Ларгус» стоял у мусорных баков, белый, с облупленной правой дверью, в которую входит комод без ножек и два стула. Костя называл его «катафалком для мебели» и купить мне что-нибудь нормальное предлагал каждый Новый год. Я каждый Новый год отказывалась. Теперь у меня был только «Ларгус», и я его любила так, как любят последнее.

У «Ларгуса» стоял Костя.

Он прислонился к облупленной двери, в куртке нараспашку, в белом свитере — я сама его когда-то выбирала, и улыбался. Костя всегда улыбался. Он улыбался продавцам, гаишникам, моей маме и своему юристу. Он улыбался, когда в августе говорил мне, что бизнес рухнул, что мы в долгах и что нам надо развестись «на бумаге, чтобы тебя защитить, зай». Это была очень хорошая улыбка, и я в неё девять лет верила.

— Привет, Варюш, — сказал он.

— Тебе нельзя ко мне подходить.

— Это где написано? — Он искренне удивился. — Мы ещё женаты, между прочим. Я мимо ехал.

— По Обводному. С Крестовского. Мимо.

Он рассмеялся, будто я пошутила. Посмотрел в сторону арки, куда уехал фургон.

— Бабушкино бюро продали? — сказал он сочувственно. — Жалко. Красивое было. Я помню, ты над ним тряслась.

Я молчала. Я доставала ключи из кармана куртки, и ключи никак не доставались, цеплялись брелоком за подкладку.

Мама рассказывала Косте всё. Мама до сих пор поздравляла его с Днём строителя.

— Мама твоя рассказывала, — сказал Костя, всё так же ласково, — ты в детстве в нём фантики прятала. От конфет. В каком-то секретном ящике. Бабушка тебе показала, а ты никому не говорила. Даже маме.

Ключи наконец вылезли из кармана. Я держала их в кулаке так, что брелок врезался в ладонь.

Костя отлепился от двери, шагнул ко мне и поправил мне воротник куртки. Заботливо. Как раньше.

— Что ты там прячешь теперь, Варюш?

Глава 2. Полироль

Пирог я купила в булочной у метро. С капустой. С яблоками он выглядел бы как извинение, с вишней — как свидание, а капуста говорила: я пришла по делу, я взрослый человек, у меня смета.

Дом с эркером на Восьмой линии и правда был один. Серый, с облезлыми атлантами над парадной, которые держали балкон с таким лицом, будто им недоплачивают. Лифта не было. Я поднималась на четвёртый этаж и на каждом пролёте думала одно и то же: вчера по этой лестнице несли бюро. Девяносто килограммов. Поворот на третьем этаже узкий, перила чугунные. Если грузчики задели им угол, я узнаю это по звуку собственного сердца.

На площадке четвёртого этажа было две двери. Одна в коричневом дерматине с прожжённой дыркой. Вторая старая, филёнчатая, выкрашенная в тёмно-зелёный, с латунной ручкой, начищенной до того, что в ней отражалась я с пирогом. Я позвонила во вторую.

Он открыл почти сразу. Без пальто он оказался ещё выше. Серый свитер, под горлом воротник рубашки, тёмные брюки со стрелками. Дома. В среду. В одиннадцать утра. Стрелки были такие, что о них можно было порезаться.

— Здравствуйте, — сказала я. — Я с пирогом.

Он посмотрел на пирог. Потом на меня.

— Откуда адрес?

— Город маленький.

— Пять миллионов человек.

— Значит, мне повезло.

Он не улыбнулся. Но и дверь не закрыл, а это уже было больше, чем вчера.

— Кто вам дал адрес, Варвара Андреевна?

— Человек, который мне ничего не говорил.

Секунды две он меня разглядывал. Потом отступил в сторону.

В прихожей висело одно пальто, вчерашнее, и стояла обувная щётка на подставке. Пол был паркетный, ёлочкой, старый дуб, натёртый мастикой до тёплого блеска. Такой паркет не топчут в уличных ботинках. Я стала расшнуровываться.

— Можно не снимать, — сказал он.

— Можно снять, — сказала я и сняла.

Шнурки у меня были разные, один чёрный, второй красный, потому что чёрный лопнул в понедельник, а красный нашёлся в кармане рабочей куртки. Он это увидел. Ничего не сказал. Я поставила ботинки к стене носками ровно, как солдатиков, сама не знаю зачем.

— Сюда.

Кабинет был в эркере. Три окна полукругом, за ними мокрые крыши и чей-то двор с облетевшей липой. На стене напротив висели морские карты в простых рамках, старые, с промерами глубин мелкими цифрами. Письменный стол. Книжные полки до потолка. Кресло с пледом. А у окна, на свету, стояло моё бюро.

Не моё. Я знаю.

Его собрали обратно. Доска висела на петлях, ящики стояли на местах, львиные морды смотрели на меня с привычным упрёком. Я подошла и присела у левой передней ножки, даже не спросив. Скол был свежий, светлый, с палец длиной: красное дерево откололось по шпону, и под ним белела сосна.

— Грузчики, — сказал он у меня над головой. — Третий этаж, поворот. Я видел.

— И что вы им сказали?

— Ничего. Вычел из оплаты.

Я провела пальцем по сколу. Щепка, наверное, осталась на лестнице, её затоптали. Вставка будет, никуда не денется, подберу шпон по рисунку, тонирую. Через год никто не найдёт. Я найду.

Потом я подняла голову и увидела, что у него в руках.

В левой была рулетка. Строительная, жёлтая, с выдвинутой лентой. В правой — баллончик. Яркий, с нарисованной блестящей столешницей и надписью «Блеск и защита. С воском».

— Вы его меряли? — спросила я. Голос у меня получился выше, чем я хотела.

— Мерял.

— Зачем?

— Хочу знать, что купил.

Он щёлкнул рулеткой, лента уползла внутрь. Рулетку он положил на подоконник. Баллончик встряхнул. Внутри застучал шарик, весело, как в погремушке, и я поняла, что сейчас будет.

Я вскочила и выхватила баллончик у него из руки.

Это вышло быстро и некрасиво. Он не отдавал, он просто не ожидал. Моя ладонь накрыла его пальцы, пальцы были тёплые и сухие, и на секунду его рука сомкнулась на моём запястье. Не больно. Очень точно. Так держат вещь, которую не хотят уронить.

Потом он меня отпустил.

— Вы всегда отнимаете у людей вещи? — спросил он.

— Только когда они собираются залить шеллак силиконом.

— Продавец сказал, для старой мебели. Тут написано «с воском».

— Там много чего написано. — Я повернула баллончик к нему этикеткой, как улику. — Это для кухонных гарнитуров из ДСП. Силикон уходит в трещины политуры, и потом её ничем не взять. Ни спиртом, ни циклей, ни молитвой. Вы хотите, чтобы следующий реставратор вас проклял?

— Следующий?

Я осеклась.

— Любой, — сказала я. — Любой реставратор.

Он посмотрел на баллончик у меня в руке, потом на бюро, потом опять на меня. Протянул ладонь. Я подумала и отдала. Он открыл ящик письменного стола, положил баллончик туда и задвинул.

— Принято, — сказал он.

На запястье, где лежали его пальцы, кожа помнила их ещё с полминуты. Я потёрла это место о джинсы, как пятно морилки.

— Вы знаете, кому оно принадлежало? — спросил он.

— Бабушке.

— До бабушки.

Он подошёл к бюро и откинул доску. Сделал он это правильно, двумя руками, придержав снизу, чтобы петли не дёрнуло. Винты в петлях стояли ровно, шлицы целые. Значит, ставил он их сам и против часовой не путал. Я отметила это где-то внутри, в том месте, где у меня хранится список людей, которым можно давать в руки старые вещи. Список короткий.

На внутренней стороне доски, у верхнего края, был вензель. Две буквы, «И» и «С», переплетённые, а под ними маленький якорь. Медная инкрустация, потемневшая. Я видела его тысячу раз.

— В детстве я думала, что «И. С.» — это Иван Сусанин, — сказала я. — И что однажды бюро заведёт меня в лес.

Что-то шевельнулось у него в углу рта. Не улыбка. Её дальний родственник.

— Иван Стрешнев, — сказал он. — Капитан-лейтенант. Гидрограф. Описывал Кольский залив и Белое море в сороковые годы позапрошлого века. Промеры, берега, мели. Его карты потом лет сорок перерисовывали, не указывая фамилии.

— Откуда вы знаете?

Он кивнул на полку. Там, между книгами, стояла фотография в узкой рамке: женщина с короткой стрижкой, в мужском свитере, смеялась куда-то мимо объектива, придерживая рукой шапку. Ветер, вода за спиной, серая, северная.

— Жена писала о нём книгу. Десять лет.

— Писала?

— Не дописала.

Он сказал это так же, как вчера «уже нет». Без интонации. Я посмотрела на фотографию, потом на морские карты, потом на бюро у окна, на свету, где его будет видно из кресла. Кресло стояло так, чтобы видеть бюро. Плед на нём был сложен вчетверо.

— Это бабушкино бюро, — сказала я. Тише, чем собиралась.

— Теперь моё.

Ну вот. Мы опять вернулись туда, где расстались вчера. Я поставила пирог на угол письменного стола, потому что держать его дальше было глупо, и полезла в карман за телефоном. В телефоне у меня была смета. Я составила её ночью, на бабушкиной кухне, под холодильник, который рычит, как трактор.

— Я хочу его отреставрировать, — сказала я. — Не ради денег. Из… — Я поискала слово, которое не будет враньём. Не нашла. — Из сентиментальности. Я с ним выросла. Я не могу смотреть, как у него отходит шпон и как его пшикают из баллончика. Это как смотреть, как бабушку красят в рыжий.

Он слушал. Слушал он особенным образом: смотрел не в глаза, а куда-то на переносицу, и лицо у него было совершенно спокойное. Через минуту мне стало казаться, что я сдаю экзамен, к которому не готовилась.

— Сколько? — спросил он.

Я показала ему экран. Он взял телефон, отодвинул от глаз на вытянутую руку, прочёл. Очков он, видимо, принципиально не носил.

— Здесь мало, — сказал он. — Чинить его надо. Это я вижу и без вас. Вопрос, кто будет.

— Я же предлагала бесплатно.

— Бесплатно мне не нужно. Бесплатно человек приходит, когда захочет. За деньги — когда договорились. — Он вернул мне телефон. — Работать будете при мне. Вечером после шести и в выходные. Если меня нет, вас тоже нет.

— Вы мне не доверяете.

— Я вас второй день знаю, Варвара Андреевна.

— Я вашей мебели ничего не сделаю.

— Моей мебели, — повторил он. — Хорошо. Когда начнёте?

— Как только мне отдадут мои стамески. Они под пломбой. Вместе с мастерской.

Он кивнул, будто это было обычное дело — реставратор без стамесок, мастерская под пломбой, пирог на столе.

— Чаю? — спросил он.

Я сказала «да» раньше, чем подумала. На кухне всё стояло так, как в магазине посуды стоит образец: чайник, сахарница, две чашки на полке, одна к одной. Он заварил чай в стакане с подстаканником, тёмным, мельхиоровым, с каким-то кораблём на боку. Мне поставил чашку. Пирог разрезал ножом для хлеба на восемь ровных кусков и съел два стоя, у окна.

— Капуста, — сказал он, будто ставил отметку в журнале.

— С яблоками выглядело бы как извинение.

— А вы не извиняетесь?

— За что? Это вы купили моё бюро.

— Бабушкино, — сказал он.

Я поперхнулась чаем. Он подал мне салфетку, не глядя.

— Почему вы его купили? — спросила я, когда откашлялась. — Только честно. Без «потому что моё».

Он поставил стакан на подставку. Подставка у него была, пробковая, круглая, и это тоже пошло в мой список, строчкой выше.

— Её книга кончается на бюро, — сказал он. — Вдова Стрешнева его описала, когда продавала имущество. Дальше двадцатые годы, и всё. Аля искала его все эти годы. По архивам, по каталогам.

— А нашли вы.

— На сайте торгов. Третья фотография в лоте. Вензель.

— Вы же могли просто сфотографировать. Для книги.

— Мог, — согласился он и взял ещё кусок пирога.

Больше он ничего не сказал, и я поняла, что больше и не скажет. Аля. Он назвал её по имени один раз и, кажется, сам этого не заметил.

Когда я уходила, дверь в соседнюю комнату была приоткрыта. Спальня. Кровать заправлена так, что одеяло казалось нарисованным, угол подвёрнут треугольником, как конверт. На тумбочке будильник. Больше ничего. Ни книги, ни очков, ни стакана с водой. Тапки стояли под кроватью носками к двери.

В прихожей я долго завязывала разные шнурки. Он стоял и ждал. Не помогал, не торопил.

— Варвара Андреевна, — сказал он, когда я взялась за ручку. — Человек, который вам ничего не говорил. Он объяснил, зачем?

— Сказал, что ему не нравится, как это всё выглядит.

— Мне тоже, — сказал он. — Запишите мой номер.

Он продиктовал его, не спрашивая, есть ли у меня ручка, и открыл мне дверь.

Домой я добиралась два часа: «Ларгус» намертво встал в пробку на Дворцовом мосту.

В бабушкину квартиру на Восьмой Советской я поднялась уже в темноте. Лестница пахла кошками и чьими-то котлетами. Я открыла дверь. Ключ повернулся как всегда, на два оборота, с привычной заминкой на втором. Я сама каждую осень капаю в этот замок машинное масло.

Свет в прихожей. Куртку на крючок. Ботинки, разные шнурки.

Я прошла в комнату и остановилась.

Бабушкин комод стоял у стены, где стоял всегда, орех, конец девятнадцатого, три ящика с латунными кольцами. Все три были задвинуты не до конца, на палец. Я так не оставляю. У меня от выдвинутого ящика начинают ныть зубы, это профессиональное, мне Костя девять лет задвигал ящики на кухне ногой и смеялся.

На комоде стояла бабушкина шкатулка, карельская берёза, с перламутровой ласточкой на крышке. Крышка была открыта.

Я подошла. Брошь с гранатами на месте. Мамино обручальное кольцо, которое мама сняла в тот год, когда ушёл отец, и отдала бабушке «на хранение навсегда», на месте. Пуговицы, напёрсток, бабушкины часики без ремешка. Всё лежало на своих местах, и ничего не взяли.

Я пошла по квартире. Кухня: ящики стола задвинуты не до конца. Шкаф в коридоре: на верхней полке коробки стоят не в том порядке, коробка с ёлочными игрушками сверху, а она всегда была внизу. Под кроватью чемодан, молния застёгнута, но бегунок не с той стороны.

Я вернулась к двери и посмотрела на замок изнутри. Потом вышла на площадку и посмотрела снаружи, подсвечивая телефоном. Ни царапины. Ни следа. Личинка блестела ровно, как всегда.

Его открыли ключом.

Ключей от бабушкиной квартиры было два. Один у меня. Второй у мамы.

Глава 3. Шпон режется

— Мам, ты давала кому-нибудь ключ от бабушкиной квартиры?

Было без двадцати восемь. Мама в это время обычно уже пила второй чай и смотрела по телевизору, как ведущая в розовом учит делать маски из огурца. Я слышала в трубке и чай, и огурец.

Потом стало тихо. Мама выключила звук.

— Костя заезжал, — сказала она. — Во вторник вечером. С эклерами. У него там зимние вещи остались, куртка, лыжи. Он же не чужой, Варенька.

— Лыжи.

— Ну да.

— Мам, Костя последний раз стоял на лыжах в десятом классе. И то упал.

— Не начинай.

— Он рылся в бабушкиной шкатулке. Он открывал комод. Он переставил коробку с ёлочными игрушками. Ты понимаешь? Он ходил по бабушкиной квартире, пока меня не было, и что-то искал.

— Искал свою куртку, — сказала мама тем голосом, каким говорят с ребёнком, который боится темноты. — Ключ он вчера вечером вернул. Сам привёз, между прочим, не поленился. Сидел у меня час. Расстроенный такой. Говорит, Варя со мной даже разговаривать не хочет, а я ведь ради неё всё…

— Ради меня он объявил себя банкротом. Ради меня у меня забрали мастерскую.

— Это бизнес, Варя. Ты в бизнесе не понимаешь. Такие, как Костя, на дороге не валяются.

— Валяются, мам. На Крестовском. В квартире с видом на залив.

Мама вздохнула. Так вздыхала бабушка, когда я в семь лет полезла в ящик с плоскогубцами.

— Ты всегда была как бабушка, — сказала она. — Тебе вещи дороже людей.

Я отключилась первой. Положила телефон экраном вниз на бабушкин стол, на клеёнку в мелкую вишенку, и посидела. Потом позвонила по объявлению из лифта и договорилась, что днём мне поменяют личинку. За четыре тысячи с кредитки, которых у меня не было.

С вещами, кстати, проще. Вещь не приносит эклеров.

* * *

Журавлёв ждал у мастерской в десять, минута в минуту. В том же сером пальто, с тем же портфелем, ручка в синей изоленте. Во дворе было скользко, кирпичная стена напротив стояла мокрая и тёмная, никакой не пастилы.

— Варвара Андреевна. — Он протянул мне руку в перчатке. — Как вы? Держитесь?

— Держусь за то, что осталось.

— Вот поэтому я вас и позвал.

Он снял пломбу аккуратно, ногтем, чтобы не порвать бумагу, и сложил её в файлик. Внутри пахло моим клеем и холодом: отопление в корпусе отключили ещё в октябре, видимо, чтобы помещение выглядело дешевле. Мои верстаки стояли под пыльной плёнкой, как мебель на даче, куда никто не приедет.

— Ручной инструмент, — сказал Журавлёв и достал из портфеля лист. — Я составил перечень. По закону это вещи, необходимые для профессиональных занятий. Я их исключу из описи, обещаю. А пока передам вам на хранение под расписку. Чтобы вы могли работать.

Я посмотрела на лист. Стамески, двенадцать штук; цикли, пять; клеянка, ножи для шпона, два рубанка, утюг и отдельной строкой кисти. Он переписал даже кисти, по банкам.

— Спасибо, — сказала я. И правда была благодарна, до кома в горле. Неприятно быть благодарной человеку, который запер твою жизнь на чужой замок и наклеил бумажку. Но инструменты он мне отдал.

Я складывала стамески в брезентовую скрутку, каждую в свой карман, по размеру. Журавлёв не мешал. Он стоял у двери с телефоном, потом достал из кармана кусок рафинада, завёрнутый в бумажку, развернул и сунул за щёку.

— Простите, — сказал он. — Сахар падает. Диабет, с юности. — Он помолчал, глядя, как я затягиваю завязки. — Вы были у него?

— У кого?

— У покупателя.

— Была.

— Он хоть разрешил вам на бюро посмотреть?

— Разрешил. За деньги. Я буду его реставрировать.

Журавлёв поднял брови, и очки у него поехали вверх.

— Вот как. Ну что ж. — Он медленно покачал головой. — Только не давите на него, Варвара Андреевна. Я вас по-человечески прошу. Жена должника ходит к покупателю лота, работает у него дома. Вы понимаете, как это выглядит со стороны? Кредиторы увидят, суд увидит. Это будет выглядеть плохо. Для вас.

— Я не давлю. Я реставрирую.

— Вот и реставрируйте, — сказал он мягко. — Спокойно. Без резких движений.

Я расписалась в двух местах. Он запер дверь, наклеил новую пломбу, расписался сам. Помог донести до «Ларгуса» коробку с клеянкой и утюгом и даже придержал мне облупленную дверь.

Телефон зазвонил, когда я уже сидела за рулём. Сева.

— Варвара Андреевна, — сказал он сразу, без «здравствуйте». — Можно аванс? За декабрь. Ну, или хоть сколько.

— Сева. У меня мастерская под пломбой. У меня нет декабря.

— Я знаю. Я понимаю. — Голос у него был высокий, торопливый, как у человека, который звонит из-за угла. — Просто мне очень надо. До понедельника. Мне тут звонят.

— Кто звонит?

— Да так. Неважно. Ну хоть три?

Я перевела ему три тысячи. Это были деньги на клей. Клей подождёт, а Сева у меня с девятнадцати лет, он первый стул склеивал у меня на верстаке, и у него тряслись руки. Сейчас у него тряслись руки по другой причине, я слышала это по голосу.

* * *

В шесть вечера я стояла на площадке четвёртого этажа и смотрела на часы. Было без двух. Звонить без двух я почему-то не решилась. Позвонила ровно.

Он открыл. Свитер, брюки, стрелки.

— Шесть, — сказал он.

— Шесть, — согласилась я.

Я разложила свою скрутку на газетах у бюро, поставила лампу, достала фотоаппарат и линейку. Перед любой работой вещь надо сфотографировать со всех сторон, с линейкой в кадре, чтобы потом было видно, какой она пришла и какой ушла. У меня на каждый предмет заводится такая карта. Иногда я думаю, что людей тоже стоило бы фотографировать до и после. С линейкой.

Он сел в кресло с книгой. Толстая книга, в коленкоровом переплёте, без суперобложки. За первые полчаса он перевернул одну страницу.

— У вас тоже рулетка, — сказал он, когда я приложила линейку к боковине.

— Это линейка. Это другое.

— Чем?

— Линейка не врёт. Рулетка провисает.

— Если держать правильно, не провисает.

Я обернулась. Он смотрел поверх книги совершенно серьёзно.

— Вы что, спорите со мной о рулетках?

— Я уточняю.

Я сфотографировала ножки, скол, боковины, львов, безухого льва отдельно, крупно. Потом откинула доску и сфотографировала горку. Ячейки, ящички, дверцу с латунным ключиком. Средний ящичек и планку под ним.

Волос был на месте: тонкая тёмная черта поперёк паза, целая, как в августе.

Я не задержалась на нём ни на секунду дольше, чем на остальном. Щёлкнула, перевела объектив дальше, на вензель. И всё равно спиной почувствовала, что он смотрит. Не на меня, а туда же, куда смотрела я.

— Вам сколько лет, Варвара Андреевна? — спросил он.

Я чуть не уронила фотоаппарат.

— Достаточно, чтобы не отвечать.

— Тридцать пять.

— Тридцать шесть. Вы угадывать будете или спросите про вес?

— Про вес не спрошу. Я ещё пожить хочу.

— А вам?

— Пятьдесят четыре.

— Я думала, больше.

— Спасибо.

— Это был комплимент. Вещи с возрастом дорожают.

— Вещи, — сказал он и перевернул вторую страницу.

Потом всё-таки отложил книгу, подошёл и встал у меня за плечом, глядя на экран фотоаппарата. Я листала кадры. Ножка, скол, бок, лев.

— Почему у этого нет уха? — спросил он.

— Мне было семь лет, и у меня были плоскогубцы.

— А ящик?

— Ящик открылся. Ухо осталось у меня в руке. Бабушка его потом год хранила в сахарнице.

— Восстанавливать будете?

Я посмотрела на безухого льва на экране. Над ним я почти тридцать лет чувствовала себя виноватой, а заодно немного гордилась.

— Нет, — сказала я.

— Правильно, — сказал он. — Я бы тоже не стал.

Он вернулся в кресло. А я ещё секунду стояла с фотоаппаратом и не могла вспомнить, что собиралась снимать дальше.

Шпон на левой боковине отошёл пузырём, на ладонь. Такие пузыри надо вскрывать по волокну, выпускать старую грязь, подавать клей и прижимать. Я взяла нож и стала поддевать край. Шпон был старый, пиленый, толще нынешнего раза в два, сухой, как печенье, и кромка у него была острая. Я это знала. Я пятнадцать лет это знаю.

Он вошёл мне в подушечку указательного пальца легко и без боли, как в масло. Боль пришла потом.

Я отдёрнула руку от бюро. Первая мысль была не про палец. Первая мысль была: не накапать бы на красное дерево. Я зажала палец в кулаке и отвела руку в сторону, над газетой.

Он уже стоял рядом. Я не слышала, как он встал.

— Покажите.

— Ерунда. У меня пластыри в куртке, двадцать штук. Профессиональное.

— Покажите, — повторил он тем голосом, которым вчера сказал грузчикам «опустить на себя».

Я разжала кулак. Порез был неглубокий, но длинный, и крови оказалось неприлично много для такого маленького пальца. Он посмотрел, кивнул сам себе и вышел. Вернулся через полминуты с железным ящиком, серым, облупленным на углах, с красным крестом на крышке. Открыл. Внутри всё лежало рядами, как стамески у меня в скрутке. Бинты, пакеты, пузырьки, ножницы, у каждого своё место и бумажная наклейка с надписью от руки.

— Это что, с корабля? — спросила я.

— С корабля.

— Вы его украли?

— Списал. Сядьте.

Я села на пол, на газету, потому что больше было некуда. Он опустился передо мной на одно колено, стрелками вниз, прямо на свой натёртый паркет, и взял мою руку. Ладонь у него была большая, моя в ней лежала как деталь в тисках. Промыл порез чем-то из пузырька, щипало зверски, я зашипела. Он не сказал «потерпите». Вообще ничего не сказал, положил салфетку, прижал её большим пальцем и стал бинтовать, ровно и туго, виток на виток, без единой складки. Я смотрела на его руки, на шрам на тыльной стороне левой ладони, белый, гладкий, неровными краями уходящий под манжету. Старый ожог. Такие я видела на лаке, когда кто-нибудь ставил на столешницу горячий утюг, а на коже так близко не видела ни разу.

Он заметил, куда я смотрю. Бинтовать не перестал.

— Пластырь — для бумаги, — сказал он. — Это порез.

— Вы ещё скажите, ранение.

— Лёгкое.

Он завязал концы маленьким аккуратным узлом и обрезал хвосты ножницами. Палец у меня стал толстый, белый и нелепый, как у куклы.

— Им нельзя работать, — сказала я.

— Значит, на сегодня всё.

— Я только начала.

— Вы начали в шесть ноль-ноль, — сказал он и посмотрел на часы. — Сейчас семь сорок. Шпон никуда не уйдёт. Он сто восемьдесят лет ждал.

Он всё ещё держал мою руку. Я тоже это заметила. Мы оба посмотрели на мою руку у него в ладони, и он её отпустил. Не сразу. Встал. Колено на брюках было в пыли от паркета, он отряхнул его одним движением.

Я собирала инструменты левой рукой, неуклюже. Он подавал мне стамески по одной, в правильном порядке, от узкой к широкой. Я не просила: он просто посмотрел, как они лежали, и запомнил.

Открыть при нём тайник было нельзя. Я это знала, когда шла сюда. Я это знала, когда фотографировала планку. Но сейчас, когда скрутка была завязана, а палец пульсировал под бинтом, мне стало ясно, что «при нём» в этой квартире означает «всегда».

— В субботу с утра, — сказал он в прихожей. — Если палец позволит.

— Палец позволит.

— Посмотрим.

Дома я поменяла себе повязку, потому что его повязка была слишком хорошей и я боялась её испортить. Потом передумала и оставила. Легла в бабушкину кровать, в куртке, потому

что в квартире было холодно, и долго не могла уснуть. Новый ключ лежал на тумбочке, блестящий, чужой.

Телефон зазвонил в начале второго. На экране был номер, который я записала вчера как «Адмирал». С большой буквы. Не знаю зачем.

— Варвара Андреевна, — сказал он. Голос был ровный, как всегда. Совершенно ровный. — У меня поцарапан замок на входной двери. Свежие царапины. Час назад их не было.

Я села в кровати.

— Что в этом бюро?

Глава 4. Шесть сантиметров

— Не вскрыли — нет состава, — сказал участковый и выключил фонарик.

Молодой, с усами для солидности, он сидел на корточках перед зелёной дверью уже минут десять. Царапины на латунной накладке замка были свежие, яркие, три длинные и одна короткая, как будто кто-то пытался расписаться гвоздём.

— Отмычкой пробовали, — сказал он, поднимаясь. — Не вышло. Замок у вас хороший, старый. Таких сейчас не делают. Заявление хотите — пишите, приму. Но вы же понимаете.

— Понимаю, — сказал Георгий Платонович.

— Соседи ничего не слышали. Камеры в парадной нет. Ну и ничего не пропало, правильно?

— Правильно.

Участковый посмотрел на меня. Я стояла на площадке в куртке, с перебинтованным пальцем, в семь утра, и, наверное, выглядела как поднятый с постели свидетель. Так оно и было. «Ларгус» в шесть утра покашлял, как бабушкин холодильник, и умер. До весны, судя по звуку. Я приехала на такси, отдав за него последние наличные и половину самоуважения.

— А вы кто будете? — спросил участковый.

— Реставратор, — сказала я.

Он записал мою фамилию в блокнот с таким лицом, словно у каждого контр-адмирала запаса в семь утра на площадке дежурит реставратор, и ушёл, громко топая по лестнице.

Георгий Платонович закрыл дверь. Повернул ключ. Подёргал ручку. Потом пошёл на кухню, поставил чайник и сел за стол напротив пустого стула. Я поняла, что пустой стул для меня.

Я села.

— Кто знает, что бюро здесь? — спросил он.

Голос у него был такой же, как вчера, когда он спрашивал, сколько мне лет. Ровный. Только теперь он смотрел мне не на переносицу, а прямо в глаза, и я впервые подумала, каково было лейтенантам у него на докладе.

— Управляющий, — сказала я. — Грузчики. Я.

— Ещё.

— Мой муж.

— Муж.

— Почти бывший.

— Что ему нужно?

Я посмотрела на свой бинт. Бинт был идеальный, его бинт, я так и не решилась его снять.

— Он думает, что бабушка что-то оставила в бюро, — сказала я. — Деньги. Или украшения. Мама ему рассказала, что я в детстве прятала там фантики. Он теперь, видимо, думает, что фантики выросли.

— А оставила?

— Бабушка оставила мне только характер.

Чайник щёлкнул. Он не встал. Он смотрел на меня так долго, что у меня зачесалась мозоль на большом пальце, и я стала тереть её под столом.

— Позавчера кто-то был у меня дома, — сказала я, чтобы не молчать. — В бабушкиной квартире. Открыли ключом, всё перерыли и ничего не взяли. Ключ был у мамы. Мама отдала его мужу. За его зимними вещами.

— Лыжи? — спросил он.

Я уставилась на него.

— Откуда вы…

— Зимние вещи у мужчины, который живёт отдельно, — это всегда лыжи, — сказал он и встал наливать чай. — Которых у него нет.

Мне стало смешно и страшно одновременно, и я не знала, что из этого показывать.

— Хорошо, — сказал он, ставя передо мной чашку. Это «хорошо» мне понравилось меньше всего. Оно значило: я вам не поверил, но запомнил.

К десяти пришёл слесарь, немолодой, неразговорчивый, с чемоданчиком. Георгий Платонович объяснил ему, какой замок нужен, тремя фразами и одним жестом. Слесарь кивнул и полез сверлить. Пока он сверлил, мы стояли в тесной прихожей, где пахло металлической стружкой, и я старалась не задеть Георгия Платоновича плечом. Получалось плохо: прихожая была рассчитана на одного человека и одно пальто.

— Условие, — сказал Георгий Платонович. — Работаете только при мне. Никого не приводите. Ни учеников, ни помощников, ни мужей.

— Муж у меня один, и тот почти бывший.

— Тем более.

— Вы что, думаете, это я привела его к вашей двери?

— Я думаю, что до вас у меня на двери царапин не было.

Я открыла рот и закрыла. Это было обидно. И это было правдой. Я повернулась уйти на кухню, наступила на собственный шнурок, красный, и он поймал меня за локоть. Отпустил сразу.

— Куда вам сегодня? — спросил он. — Машина ваша, я так понимаю, не на ходу.

— На Петроградскую.

— Отвезу. И заберу в пять.

— Зачем?

— Затем, что ваша машина умерла, а у меня поцарапан замок, — сказал он. — Пока я не понимаю, кто ходит вокруг этого бюро, мне спокойнее видеть вас в машине, чем на остановке.

Слесарь за дверью выругался, но прилично, и спросил, где тут розетка.

* * *

«Тёплая чашка» стояла на Большом проспекте, в первом этаже старого дома, и внутри у неё стоял буфет, немножко мой. Три года назад Марго купила его у какой-то старухи на Зверинской, дубовый, с гранёными стёклами, с древоточцем в правой тумбе, и привезла ко мне. Я лечила его два месяца. С тех пор кофе мне здесь наливали со скидкой. Марго называла её «гарантийным обслуживанием».

Марго посмотрела на мой бинт, на мою куртку, на моё лицо и ничего не спросила. Поставила передо мной чашку и ушла за стойку. Я сидела у окна и смотрела, как по Большому едут мокрые машины. Кофе остыл. Я всегда забываю чашку, у меня на верстаке шеллак сохнет быстрее, чем остывает кофе.

Через полчаса Марго вернулась, села напротив и положила руки на стол. Фартук у неё был с пятном на кармане, тем же, что три года назад.

— Ну? — сказала она.

И я рассказала. Про Костю и его друзей с расписками. Про управляющего с портфелем и пломбу на моей двери. И про бюро, увезённое человеком с прямой спиной и ответом «нет» на всё. Про папку я не сказала. Про папку я не говорила никому.

Марго слушала, не перебивая. Когда я замолчала, она взяла мою холодную чашку, заглянула в неё и покачала головой.

— А юрист у тебя есть?

— Есть. Он говорит, надо подождать.

— Чего?

— Не знаю. Наверное, пока всё продадут, чтобы потом уже не волноваться.

Марго встала, ушла за стойку, порылась в ящике под кассой и вернулась с визиткой. Белая, плотная, без картинок. «Штерн Аркадий Львович. Адвокат».

— Он сухой, дорогой и пьёт у меня чай, — сказала Марго. — В кофейне. Я с ним спорю, он не сдаётся. Тебе подойдёт.

— Почему?

— Ты тоже не сдаёшься. Только делаешь вид.

— Я сдаюсь, Марго. Я сегодня в семь утра стояла на чужой лестнице с участковым.

— На чьей лестнице?

— Неважно.

— А почему тогда ты про неё второй раз говоришь? — спросила Марго и ушла за стойку, не дожидаясь ответа.

Через минуту передо мной стоял свежий кофе. Я убрала визитку во внутренний карман и застегнула его на молнию.

Без десяти пять у меня зазвонил телефон. Гарт. Леонид Маркович Гарт, антиквар с Литейного, мой клиент с первого года, с голосом конферансье и запонками под настроение.

— Варенька, — сказал он, и я сразу поняла, что ему что-то нужно. Когда ему ничего не нужно, я Варвара Андреевна. — Варенька, я знаю, кто купил Стрешнева.

— Кого?

— Не притворяйтесь, вам не идёт. Ваше бюро. Островский, контр-адмирал, Васильевский. Мир тесен, а антикварный мир тесен вдвойне. — Он вздохнул в трубку. — Уговорите его продать мне. У меня покупатель, человек серьёзный, ему нужен именно этот предмет. Десять процентов ваши. От хорошей суммы, Варенька. Очень хорошей.

— Он не продаёт.

— Все продают. Вопрос в цифре и в том, кто её произносит.

— Леонид Маркович, я…

— Подумайте, — сказал он ласково. — Я вам перезвоню.

Я положила телефон на стол. Подняла глаза и увидела в окне, на тротуаре, Георгия Платоновича. Он стоял у двери кофейни, не заходя, в тёмном пальто, руки в карманах. Стоял и ждал. Просто стоял, а прохожие обходили его, как обходят фонарный столб.

Марго тоже смотрела в окно. Она вытирала чашку и перестала.

— Моряк, — сказала она.

— Откуда ты знаешь?

— Мой отец так стоял.

Больше она ничего не сказала. Поставила чашку на полку, ручкой вправо, и ушла в подсобку.

* * *

«Тойота» у него была старая, но внутри чистая до неприличия, ни одной бумажки. Печка дула холодным воздухом и обещала тёплый минут через десять. Я сидела, засунув руки в рукава, и стучала зубами так, что было слышно.

На Троицком мосту он молча снял перчатки и положил мне на колени.

— Наденьте.

— А вы?

— У меня руль.

Перчатки были кожаные, огромные и тёплые изнутри, его теплом. Я надела. Пальцы в них болтались, бинт не мешал. Я сидела в его перчатках, как ребёнок в папиных, и не знала, куда деть руки, хотя руки были при деле: грелись.

— Кто она? — спросил он.

— Марго. Подруга. Я ей буфет лечила.

— Она на меня смотрела.

— Она на всех так смотрит.

— Нет, — сказал он.

— Она сказала, что вы моряк. По тому, как стоите. Сказала, у неё отец так стоял.

Он смотрел на дорогу. Мост кончился, впереди было Марсово поле, мокрое, в огнях.

— Служил?

— Не знаю. Она не объясняет.

— Правильно делает, — сказал он. И через квартал: — Палец?

— Дёргает.

— Значит, живой.

— Вы всегда так утешаете?

— Я не утешаю. Я проверяю.

У моей парадной на Восьмой Советской он заглушил мотор и не вышел. Я стала стягивать перчатки.

— Оставьте до завтра.

— Завтра суббота.

— Вот в субботу и привезёте, — сказал он.

Когда я поднялась на свой этаж и включила свет, я выглянула в окно. «Тойота» стояла внизу с выключенными фарами. Постояла ещё минуту. Потом уехала.

Перчатки лежали у меня на коленях до полуночи. Я так и не сняла куртку.

Георгий

Спать я не лёг.

В два часа ночи в доме слышно только трубы. Я сидел в кресле в кабинете. Бюро у окна, на крышке свет с улицы. Куплено десять дней назад. До прошлой ночи я смотрел на него как на Алину вещь: глава, которую она не дописала.

Теперь не получалось.

Что имею. Царапины на замке, свежие, четыре штуки. Муж, который ищет в бюро бабушкины деньги. Реставратор врёт плохо. Для человека, который так точно держит нож, очень плохо. Горку она фотографировала ровно, кадр за кадром, а на середине задержалась на полсекунды. Я тридцать лет смотрю, куда смотрят люди на докладе. Это не выключается.

В четверг я бинтовал ей палец. Рука маленькая, жёсткая, в мозолях и старых пластырях. Держала неподвижно. Смотрела не на бинт, а на мой шрам. Не спросила. Это я тоже запомнил. Ненужное.

Аля говорила про тайник десять лет: за ужином, в машине, потом в больнице. «По описи вдовы два секрета, Жора. Один я, кажется, вычислила. Второй не найден». Я отвечал: «Аля, это легенда для статьи». Она смеялась и не спорила. Статья вышла шесть лет назад, в журнале на триста читателей. Схему она рисовала сама, на кухне, моим карандашом.

Журнал стоял на второй полке. Я его не открывал четыре года. После похорон я не открывал ничего, что она писала.

Открыл. На полях её пометки, стрелка на центральную секцию и подпись её почерком: «мельче соседних?»

Я взял рулетку.

Снаружи, по боковой стенке, от передней кромки до задней: одна цифра. Я записал её на полях, рядом с Алиной стрелкой. Левые ячейки внутри: та же цифра за вычетом стенки.

Правые: та же. Центральная секция с дверцей. Я открыл дверцу ключиком, вынул средний ящичек, просунул ленту до упора.

Мерил три раза, от разных кромок. Рулетка, если держать правильно, не провисает.

Шесть сантиметров. Центральная секция была на шесть сантиметров мельче соседних. Снаружи бюро было целым. Внутри у него не хватало ладони.

Я сидел на полу с рулеткой в руке и смотрел на планку под пустым гнездом ящика. Поперёк паза в свете фонаря блестела тонкая черта. Волос. Длинный, тёмный. Приклеен.

Куда делись шесть сантиметров?

Глава 5. Читать с конца

— Вы всегда начинаете с последней страницы? — спросила я.

Штерн не ответил. Он сидел за столом в пиджаке, это в субботу в девять утра, и листал мою папку с документами справа налево: определение суда, опись, протокол торгов, моё ходатайство про бюро. Очки висели у него на цепочке, и читал он без них, отодвинув лист на вытянутую руку. Мне это кого-то напомнило.

Кабинет был маленький, на втором этаже старого дома на Петроградской, окно во двор, на подоконнике шахматная доска с недоигранной партией. Ни одной фигуры не стояло ровно в центре клетки. Это меня почему-то успокоило. Белые явно проигрывали, и что-то подсказывало мне, что белые здесь его, а чёрные приходят по почте.

— В конце люди устают врать, — сказал он, не поднимая глаз. — Начало пишут для суда. Конец пишут, когда хочется домой.

Телефон у него на столе зажужжал. Штерн глянул на экран и перевернул телефон лицом вниз.

— Колпино, — сказал он. — У меня там дело, которое ждёт полгода. Ещё час переживёт. — Он перевернул последнюю страницу, то есть первую. — Варвара Андреевна, чай будете? Кофе не держу. Маргарита Ильинична считает это изменой.

— Спасибо, нет.

— Напрасно. Сейчас будет неприятно.

Он сложил мои бумаги стопкой, выровнял по краю и положил ладонь сверху.

— Такие банкротства пахнут, как квартира перед показом, — сказал он. — Свежая краска, кофе сварен, на столе ваниль. А под ламинатом гниль. Пятеро приятелей дали вашему мужу в долг больше, чем сами видели за всю жизнь, и суд это съел. Это первое, что мне не нравится. Второе — вот.

Он вытянул из стопки два листа и положил рядом.

— Ходатайство об исключении бюро из массы вы подали в октябре. Заседание назначено на третье декабря. А торги провели десятого ноября.

— Я знаю. Я спрашивала. Мне сказали, это законно.

— Законно, — согласился Штерн. — И быстро. Управляющий мог подождать три недели. Решил бы суд, что бюро ваше, — продавать было бы нечего. Не стал ждать. Торопился.

— Он не торопился, — сказала я. — У него процедура. Он сам мне в четверг инструменты отдал. Под расписку. Он даже кисти переписал.

Штерн впервые за всё время поднял на меня глаза.

— Кисти, — повторил он.

— По банкам.

— Это очень трогательно, — сказал он без выражения и что-то записал в блокнот. — Торги оспорить можно. Только обиды мало, и дешёвой цены мало. Нужна дыра в процедуре или дружба покупателя с управляющим. Покупатель вам знаком?

— Контр-адмирал запаса. Он с управляющим даже не разговаривает. Он вообще ни с кем не разговаривает. Он с рулеткой разговаривает.

— Тогда шансов мало, — сказал Штерн. — Я бы на вашем месте бюро пока отпустил. Мысленно.

— Не могу.

— Я так и думал. — Он перевернул страницу в блокноте. — Теперь мастерская. Помещение куплено в браке?

— Пять лет назад. На мои деньги. Я его по объявлению нашла, я там сама полы перестилала.

— В браке, — сказал он. — Значит, на общие. Закону всё равно, кто из вас ночами шкурил стулья. Ваш юрист подавал иск о разделе имущества?

— Какой раздел? Он сказал, что раздел перед банкротством не спасает. Что его отменят.

— Соглашение отменят, — сказал Штерн. — Если бы вы с мужем полюбовно поделили всё накануне, это бы отменили, и правильно. Иск в районный суд — другое. Пока районный суд делит ваше общее имущество, продавать его в банкротстве нельзя. Так написал Верховный суд, а с ним даже я не спорю.

— То есть мастерскую можно было остановить ещё в октябре? — Я подалась вперёд. — И мне никто…

— Вам сказали подождать.

Он развернул ко мне блокнот. Там его мелким почерком было написано: «юрист: подождать (!)». Восклицательный знак стоял в скобках, и это было хуже, чем без скобок.

— Вы вчера сообщили мне это по телефону, — сказал Штерн. — Я записываю всё, что меня злит.

— Торги мастерской пятнадцатого декабря, — сказала я.

— Значит, подаю в понедельник. Районный суд может оставить иск без движения, может принять. Обещать вам срок не буду. Буду подавать.

— Аркадий Львович, — сказала я. — Я должна сразу сказать. У меня нет денег. Совсем. У меня даже машина умерла.

— Знаю. Маргарита Ильинична предупредила.

— И что она сказала?

— Что вы заплатите, когда вернёте мастерскую. А если не заплатите, она будет наливать мне чай бесплатно до конца моих дней. — Он поправил стопку бумаг, хотя она и так лежала ровно. — Я считаю, это выгодная сделка. Для меня.

— А бюро? Этим можно вернуть бюро?

— Нет. Бюро ваше личное, бабушкино, если суд поверит. Делить его не с кем. И оно уже продано. — Штерн взял очки, висевшие на цепочке, и повертел их в пальцах. — Бюро вы вернёте, только если докажете, что всё банкротство — фикция. Тогда падает всё. Торги, опись, управляющий. Для этого нужны бумаги.

Я достала телефон. Открыла папку с фотографиями. Шесть кадров, сделанных в августе в Костином кабинете, на полу, при свете телефона, с бешеным сердцем. Я показала ему два. Расписки. Почерк Костиных приятелей, суммы с нулями, даты пустые.

Штерн взял телефон и долго смотрел, раздвинув двумя пальцами угол, где пустела строчка для даты.

— Интересно, — сказал он. — Очень интересно. Это фотографии.

— Да.

— Где оригиналы?

Я молчала.

Я могла сказать «не знаю». Могла сказать «у мужа». Могла сказать правду: в бюро красного дерева, в доме с эркером, за шесть сантиметров от рулетки человека, который не продаёт. Я ничего не сказала. Я взяла у него телефон и убрала в карман.

Штерн смотрел на меня секунд пять. Потом аккуратно написал в блокноте одно слово, подчеркнул его и закрыл блокнот.

— Когда сможете ответить на этот вопрос, позвоните, — сказал он. — Даже если я буду в Колпино.

* * *

Перчатки я ему вернула в прихожей. Он взял их и положил на полку, рядом со щёткой для обуви, пальцами к стене.

— Палец? — спросил он.

— Работает.

— Где вы были утром?

— В метро.

— До метро.

— У адвоката.

— Хороший?

— Читает с конца.

— Значит, хороший, — сказал он. — Плохие читают с начала и сразу верят.

Я надеялась, что сегодня он уйдёт. В магазин, в академию, на прогулку, куда угодно на час. Я надеялась на это всю дорогу в метро, с пересадкой и со скрюченным пальцем в кармане. Он не ушёл. Он сел в кресло, и книга в коленкоре была уже другая, потоньше.

Ладно.

Шпон на боковине я вскрыла ножом по волокну и выбрала из-под него столетнюю грязь. Теперь нужен был клей. Мездровый клей греют на водяной бане, в клеянке, долго, и пахнет он так, что гости уходят сами.

— Мне нужна плита, — сказала я. — Клей греть. Это минут двадцать. Вы же не будете стоять со мной на кухне двадцать минут?

— Буду, — сказал он.

И стоял. В дверях кухни, прислонившись к косяку, пока клей таял и пах варёной костью на всю квартиру. Он не морщился.

— Обычно от этого запаха люди уходят, — сказала я.

— На камбузе после большой приборки пахло хуже.

Он смотрел, как я помешиваю палочкой, с тем же лицом, с каким, наверное, смотрел на учения.

— Вы чем-то очень заняты, — сказала я.

— Вами.

Палочка выскользнула у меня из пальцев и булькнула в клеянку.

— Клеем, — поправился он.

Клей я отнесла в кабинет. Он пошёл следом. Я попросила стакан воды. Он взял графин со своего стола и налил, не сходя с места, за четыре секунды. Я сказала, что мне нужна бумага под утюг, пергамент, лучше пекарский. Он открыл ящик стола, достал рулон пекарской бумаги, как будто держал его там с девяносто пятого года специально для меня.

— Откуда у вас в кабинете пекарская бумага?

— Аля рисовала на ней схемы. Она просвечивает.

Он сказал это просто, как называют деталь, и я оторвала кусок и больше ничего не спрашивала.

Через час, когда шов уже прихватило, я предприняла последнюю попытку.

— Георгий Платонович, у вас, кажется, кончился хлеб.

— У меня есть хлеб.

— Чёрствый.

— Вчерашний.

— Вот. Сходили бы. Свежий воздух, булочная за углом.

— Варвара Андреевна, — сказал он, не отрываясь от книги. — Вы третий час пытаетесь выставить меня из моей квартиры. Если вам нужно что-то сделать без меня, скажите, что именно.

Я сказала, что ничего мне не нужно. Что я просто забочусь о его питании. Он перевернул страницу и остался сидеть.

Работали молча. Я подавала клей под шпон узким шпателем, прикатывала валиком, накрывала бумагой и прижимала тёплым утюгом. Он смотрел. Потом спросил, не поднимая головы от книги:

— Ваш муж чем занимается?

— Занимался. Стройматериалы. Склады в Шушарах.

— Склады его?

— Теперь ничьи. Записаны на какие-то фирмы. Он мне не докладывал.

— А директора у этих фирм кто? Его люди?

Утюг у меня в руке остановился. Под бумагой зашипело, и я быстро подняла его.

— Понятия не имею, — сказала я. — Вы откуда таких вопросов набрались, Георгий Платонович? Директора, фирмы.

— Газеты читаю.

— Вы читаете книгу в коленкоре. Одну страницу за полчаса.

— Ту я вчера дочитал.

— Зачем вам мои фирмы?

— Мне не нравятся чужие царапины на моей двери, — сказал он. — Хочу знать, чьи они.

Это было разумно. Я снова взялась за утюг.

— Вы когда училище окончили? — спросила я, чтобы не молчать.

— В девяносто пятом.

— Я тогда ходила в детский сад и ела пластилин.

— Зелёный?

— Почему зелёный?

— Все едят зелёный, — сказал он. — Его больше в коробке.

Я засмеялась. Громко, неприлично, с утюгом в руке. Он смотрел на меня поверх книги, и угол рта у него дрогнул, второй раз за наше знакомство.

— Когда вам было, как мне сейчас, мне было восемнадцать, — сказала я. — Это же надо так посчитать.

— Не надо, — сказал он. — Не считайте.

Пучок у меня на затылке держится на карандаше. Карандаш от этого всё время съезжает. Я наклонилась проверить шов, и прядь выпала мне на лицо и повисла прямо над тёплым клеем. Руки у меня были заняты: в одной утюг, в другой валик.

Он поднялся из кресла и убрал прядь. Взял её двумя пальцами и заправил за карандаш, в пучок, аккуратно, как заправляют конец, чтобы не болтался. Пальцы задели мне висок. На секунду, не больше. Карандаш после этого держался до самого вечера, чего с ним не случалось никогда.

Потом он отступил. Посмотрел на свою руку, будто она сделала что-то без его приказа.

— Клей, — сказал он. — Попадёт в клей.

И отошёл к окну. Стоял там спиной ко мне и смотрел на мокрые крыши так внимательно, словно их надо было пересчитать.

Я прижимала утюгом бумагу к шпону и считала до шестидесяти. Дважды сбилась.

— Варвара Андреевна, — сказал он от окна, не оборачиваясь. — Если кто-нибудь опять откроет вашу дверь ключом. Или ваша мама отдаст кому-нибудь ключ ещё от чего-нибудь. Звоните мне.

— В два часа ночи?

— Я встаю в шесть. Разница небольшая.

— Четыре часа.

— На флоте это одна вахта, — сказал он. — Не считается.

В пять я собралась. Шов схватился, теперь его надо было оставить под грузом на сутки. Я положила на боковину два мешочка с дробью, через пробку, чтобы не осталось следов. Он смотрел и не помогал, и я была ему за это благодарна. Есть вещи, которые надо делать самой.

Телефон завибрировал, когда я завязывала в прихожей свои разные шнурки. Сообщение от Кости, без текста, только фото.

Зелёная филёнчатая дверь. Латунная ручка. Два замка: старый и новый, блестящий, вчерашний. Снято снизу, с лестницы, с площадки между третьим и четвёртым этажом. На ступеньке в углу кадра лежал окурок.

Через секунду пришла вторая строчка:

«Твой адмирал плохо закрывает парадную».

Глава 6. По-хорошему

— Окурок его? — спросил Георгий Платонович.

Он держал мой телефон на вытянутой руке, как держат чужое письмо, и смотрел не на свою дверь на фотографии, а в угол кадра. Было воскресенье, девять утра. Мы стояли в прихожей, и я ещё не успела снять второй ботинок.

— Костя не курит, — сказала я. — Бросил перед свадьбой. Говорил, ради меня.

— Значит, не его.

— Значит, он был не один.

Он вернул мне телефон, открыл входную дверь и вышел на площадку как был, в носках и брюках со стрелками, спустился на полпролёта и посмотрел на ступеньку. Я вышла следом в одном ботинке. Ступенька была чистая и мокрая.

— Я подмёл в шесть, — сказал он. — Тогда ещё не знал, что это вещественное доказательство.

— Вы подметаете чужую лестницу?

— Свою. До третьего этажа.

Мы вернулись в квартиру. Я сняла второй ботинок и поставила оба к стене. Шнурки я вчера вечером поменяла, теперь оба были чёрные. Он посмотрел на ботинки и ничего не сказал, но я видела, что заметил.

— Варвара Андреевна. Ваш муж опасен?

Девять лет я отвечала на этот вопрос «нет». Маме, подругам, однажды врачу в травмпункте, когда сама уронила себе на ногу дубовую столешницу, а врач смотрел на Костю в коридоре слишком внимательно. Костя никогда не кричал, не бил посуду, он вообще ничего в жизни не бил, даже мух.

— Он ни разу меня не ударил, — сказала я. — И голос не повышает. Он улыбается и делает по-своему. Ему что-то нужно — он приходит к маме с эклерами. К вам вот пришёл с телефоном. Ко мне…

Телефон у меня в руке зажужжал. Я посмотрела на экран и засмеялась, коротко и глупо.

— Ко мне он приходит сегодня, — сказала я и показала ему.

«Варюш, давай по-хорошему. Сегодня в два, у Сенной, где ели блины. Одна. Без адмиралов».

Георгий Платонович прочёл, не отодвигая телефон от глаз. Значит, крупно написано.

— Пойдёте?

— Пойду.

— Я отвезу.

— Он написал: одна.

— Это он написал. — Он отдал мне телефон. — Вы что напишете?

— Что приду одна. Если он вас увидит, он будет весь час улыбаться и говорить о погоде. А мне нужно, чтобы он говорил.

Он смотрел на меня так, как смотрел в пятницу на кухне, когда я врала про фантики. Потом кивнул.

— Позвоните, когда выйдете. Не позвоните через час, я приеду.

— Вы не знаете, какое кафе.

— Где вы ели блины, у Сенной. Найду. — Он пошёл на кухню и сказал уже оттуда: — Значит, будем нести вахту. Чай будете?

* * *

Кафе было на втором этаже над аптекой, с клетчатыми скатертями под стеклом и меню, где блины назывались «по-купечески». Костя привёл меня сюда на третьем свидании и заказал блины с икрой, хотя у него тогда не было денег даже на метро обратно. Я это узнала через год. Тогда мне показалось, что это очень широко.

Перед дверью я достала телефон, включила диктофон и положила в карман куртки. Руки были мокрые, как у человека, который собирается выносить из музея картину, а не пить кофе с мужем.

Костя сидел у окна. Перед ним стояли две чашки. Он встал, когда я вошла, и улыбнулся, как улыбался всем официанткам мира.

— Я тебе взял капучино. С корицей, как ты любишь.

Корицу я не любила никогда. Девять лет он заказывал мне капучино с корицей, и девять лет я выпивала его, потому что неудобно.

— Спасибо, — сказала я и отодвинула чашку.

— Телефон на стол, Варюш. Экраном вверх. Ну ты же умная девочка.

Я положила. Красная точка записи светилась в углу экрана. Костя посмотрел на неё и засмеялся.

— Пусть пишет. Мне скрывать нечего. — Он размешал сахар, хотя сахара не клал. — Я пришёл мириться.

— Ты пришёл за чем-то.

— Одно другому не мешает. — Ложечка звякнула о блюдце. — Ты в августе открыла мой сейф. Код — мой день рождения, я знаю, я дурак, мне говорили. И взяла то, что тебе не принадлежит.

— Я ничего не брала.

— Конечно. — Он кивнул так серьёзно, что я чуть не поверила, будто он мне верит. — Смотри, что я предлагаю. Ты возвращаешь мне ничего, раз ничего не брала. А я поговорю с людьми. Кредиторы у меня сговорчивые. Могут и передумать насчёт мастерской. Управляющий может кое-что исключить из описи, у него это хорошо получается.

— Твои кредиторы, — сказала я. — Ты говоришь про них, как про своих друзей.

— Я сказал «кредиторы». Ты слышишь, что хочешь услышать.

— Друг твой, с которым вы по четвергам в бане, дал тебе в долг миллионы. У него «Нива» в кредите, Костя. Я её видела.

— Люди копят. — Он развёл руками. — Ты не представляешь, сколько у людей лежит под матрасом. Я тоже не представлял.

Он улыбался и говорил ровно. Ни одного слова, за которое Штерн смог бы зацепиться. Я это слышала, а прижать его не могла. Это было как подклеивать шпон на мокрый клей: давишь, а он съезжает.

— Пятнадцатого декабря торги, Варюш, — сказал он мягко. — Пятнадцатого твои верстаки уедут в какой-нибудь цех в Парголово, и на них будут пилить ДСП. Твоя клеянка Николая Второго. Твои банки с кисточками. Мне правда жалко. Я ведь помню, как ты там полы перестилала.

— Ты мне ни одной доски не подал.

— Я тебе пиццу привозил.

Он протянул руку через стол и накрыл мою ладонь. Рука у него была тёплая, мягкая, и раньше от этого прикосновения мне становилось спокойно. Я убрала руку и положила её на колени.

— Пятнадцатого ничего не уедет, — сказала я.

— Варюш…

— Завтра мой адвокат подаёт в районный суд иск о разделе имущества. Пока суд делит наше общее, продавать его в твоём банкротстве нельзя. Так написал Верховный суд. Мастерскую в том числе.

Иск всё равно завтра ляжет в суд, и через день о нём узнают все, кому положено. А мне хотелось увидеть Костино лицо сегодня. Я сказала это ровно, будто зачитывала смету. Руки держала на коленях, чтобы он не видел, как я тру мозоль на большом пальце.

Улыбка у Кости сломалась, как ломается старый шеллак под ногтем: была гладкая, и вот по ней трещина. За девять лет я ни разу этого не видела. Он смотрел на меня, и лицо у него было голое и растерянное. Секунды три. Потом он взял чашку, отпил, поставил, и улыбка вернулась, только теперь держалась на одних губах.

— Какой адвокат? — спросил он.

— Хороший.

— Штерн, — сказал он. — Мама твоя говорила, что ты нашла какого-то Штерна. Дорогой. Интересно, чем ты ему платишь.

— Не твоими деньгами. Твоих денег, ты сам сказал, нет.

Он засмеялся, но смех вышел короткий, и он сразу начал застёгивать куртку, хотя ещё не вставал.

— Ты не понимаешь, с кем играешь, Варюш.

— С тобой.

— Если бы. — Он посмотрел в окно, на мокрую площадь, на рынок, и сказал тише, без улыбки: — Ты ходишь к чужому старику, сидишь у него до ночи. Думаешь, это только мне интересно? Есть люди, которым я должен по-настоящему. Они не такие вежливые, как я.

— Какие люди?

— Подумай. — Он встал, положил на стол купюру, слишком крупную, и подмигнул официантке. Подмигнул по привычке, лицо у него при этом было серое. — Твой раздел — бумажка, Варюш. Бумажки теряются. Подумай до первого декабря. Потом мне будет нечего тебе предложить.

Он ушёл, не оглянувшись. Его кофе остался недопитым. Мой тоже.

На лестнице я прослушала запись. Звенела ложечка, гудела кофемашина, его голос звучал чисто и приятно. Ни одного слова, которое можно было отнести в суд. Я стояла у аптечной витрины и слушала, как мой муж двадцать минут ничего не говорит.

Позвонила я без десяти три. Он взял после первого гудка.

— Да.

— Я вышла.

— Вижу.

Я подняла голову. Через дорогу, у рынка, стояла тёмно-серая «Тойота». Он сидел за рулём и смотрел на меня.

— Вы же сказали: через час.

— Я сказал, что приеду через час, — сказал он. — Где буду до этого, я не говорил.

* * *

— На камбузе я не адмирал, — сказал он и отобрал у меня нож.

Я хотела помочь с луком. Он посмотрел, как я режу, и молча забрал доску. Резал он мелко и ровно, кубиками одного размера, будто их потом будут мерить. Фарш шипел на сковородке. Макароны по-флотски. Я не ела их с детского лагеря и думала, что взрослые люди их не готовят.

Шов на боковине за сутки схватился как надо. До семи я снимала с ножек вековую грязь, он читал в кресле. В семь он сказал «ужин», как говорят «подъём».

— Это обязательно? — спросила я.

— Вы с утра съели один бутерброд и половину чужого кофе.

— Я не пила его кофе.

— Значит, ничего не съели.

На подоконнике лежала жёлтая рулетка. На кухне, рядом с перечницей.

— Вы и на кухне всё меряете?

Он посмотрел на рулетку и чуть замедлил нож.

— Это Алина. Она подарила мне её на пятнадцать лет свадьбы. Сказала: чтобы я не врал о размерах рыбы.

— А вы врали?

— Безбожно. — Он ссыпал лук в сковородку. — В Североморске все врут о рыбе. Это часть службы.

Я засмеялась. Он не улыбнулся, но плечи у него стали другие, проще.

— Какая она была?

Он помешал лук. Долго, дольше, чем нужно.

— Громкая. Смеялась так, что на нас оборачивались в Доме офицеров. Историк. Сидела в архивах неделями, приезжала с пыльными рукавами и рассказывала мне про людей, которые умерли сто пятьдесят лет назад, так, словно встретила их в булочной. Говорила, что у меня всё в сантиметрах, а у неё в веках. — Он выключил огонь. — Садитесь.

Макароны были вкусные. Я съела две тарелки и не стыдилась. Он налил себе чай в стакан с подстаканником и поставил передо мной чашку. Ел аккуратно, не торопясь, и смотрел в окно.

— Склады вашего мужа, — сказал он. — Вы говорили, они на фирмах. Кто за эти фирмы подписывает?

— Опять вы про директоров.

— Опять.

— Не знаю. Мальчики какие-то. — Я пожала плечами. — Костя как-то хвастался: нашёл ребят, которым всё равно, где расписываться. Платил им копейки, а они рады.

Он поставил стакан мимо подставки, прямо на клеёнку, потом заметил и переставил.

— Ребят, — повторил он.

— Он так говорил. А вам зачем?

— Хочу понимать, кто ходит по моей лестнице. — Он встал и пошёл к раковине мыть сковородку. Мыл он её долго.

Подстаканник стоял на столе между нами. Тёмный мельхиор, на боку корабль под парусами, тонко выбитый, с флажками на мачтах. Я протянула руку, чтобы повернуть его к себе и рассмотреть, и в ту же секунду он вернулся и взялся за стакан. Мои пальцы легли на его. Стекло было горячее, его рука тёплая, и никто из нас не отдёрнул руку.

— Осторожно, — сказал он. — Горячий.

— Я вижу.

Он отпустил стакан первым. Я повернула подстаканник к себе. Под кораблём была гравировка, мелкая, затёртая пальцами: «Жоре. Не опаздывай к ужину».

— Опаздывали? — спросила я.

— Двадцать шесть лет.

Я поставила подстаканник на место. На подставку. Он это заметил.

— Георгий Платонович, — сказала я. — В бюро…

Он ждал. Сидел напротив, руки на столе, и ждал так, как, наверное, ждал доклада от вахтенного, без единого движения. Я смотрела на его руки. На шрам. На подстаканник с кораблём. Сказать было очень просто: в бюро моя папка, мне надо её забрать, выйдите на десять минут. И тогда завтра он позвонит Журавлёву, потому что так положено по закону. Или Косте. Или не позвонит никому, а откроет тайник сам и прочтёт то, что я сама ещё до конца не прочла.

— В бюро на левой задней ножке старая трещина, — сказала я. — Её стянули когда-то проволокой. Проволоку надо вынимать.

— Вынимайте.

Он тоже смотрел на меня. Потом сказал:

— Варвара Андреевна. Есть вещи, которые я…

И замолчал. Я видела, как он подбирает следующее слово. Не подобрал.

— Доедайте, — сказал он. — Остынет.

В прихожей я завязывала чёрные шнурки дольше, чем нужно. Он стоял у двери, как всегда, не помогая и не торопя. Я выпрямилась и взяла куртку с крючка.

— Спасибо за ужин.

— Пожалуйста.

Он открыл мне дверь. Свет с лестницы лёг на паркет. Я шагнула на площадку, и тогда он сказал мне в спину, тем же голосом, каким говорил о погоде:

— Вы мне врёте, Варвара Андреевна.

Я обернулась.

— Я тридцать лет слушаю, как врут на докладе, — сказал он. — Приходите, когда перестанете. Работу я не отменяю.

Глава 7. Прихожая

— Пять тысяч в неделю, — сказал Кузьмич. — И мои рубанки не трогать.

— Ваши рубанки я бы и под наркозом не тронула, — сказала я. — Они у вас тупые.

Кузьмич подумал и решил считать это комплиментом. Он делал кухни и межкомнатные двери в соседнем корпусе на Обводном, через два двора от моей опечатанной мастерской, и угол у окна сдал мне с сегодняшнего утра. В углу стоял верстак с чужой вмятиной посередине, табурет и лампа на прищепке. Из моих окон я видела розовую стену, отсюда видела свою дверь с бумажной пломбой. Утром на пломбу сел голубь и долго сидел, как понятой.

Шесть венских стульев клиентка с Таврической привезла к Кузьмичу ещё в субботу. У всех шести расшатались царги, у двух треснули гнутые ножки, у одного кто-то когда-то вклеил в гнездо спичку вместо шипа. Деньги за стулья должны были пойти на клей, на личинку, на Кузьмичёвы пять тысяч и на Штерна, если Штерн когда-нибудь возьмёт деньги, а не чай.

Сева разбирал третий стул. Сидел на полу, держал стул между коленями и выбивал царгу киянкой через деревянную прокладку, как я учила. Аккуратно, по сантиметру. С утра он не сказал мне и десяти слов.

— Сева, — сказала я. — Ты киянкой стучишь, как будто извиняешься.

— Я нормально стучу.

— Ты стучишь так с девяти утра. Что случилось?

Он положил киянку на пол. Потом поднял и положил снова, ровнее.

— Варвара Андреевна, ко мне подходили.

— Кто?

— Мужик. На той неделе, у метро. Обычный, лет пятьдесят, куртка серая. Сказал, что от вашего мужа. Сказал, муж волнуется, что вы что-то не то делаете с его вещами. — Сева смотрел на стул, не на меня. — Спрашивал, что вы храните и где.

Я отложила стамеску. Медленно, чтобы не уронить.

— И что ты ему сказал?

— Ничего! — Он вскинул голову. — Ну. Почти ничего. Сказал, что вы всё в мебели прячете. Ну все же знают. Вы ключи от мастерской держали в комоде с двойным дном. И деньги на обеды в шкатулке под шпоном. Это же не секрет, Варвара Андреевна, это же… это ваше, фирменное.

Фирменное. Я смотрела на него и вспоминала, как три года назад показала ему комод с двойным дном и он сказал «вау» так, будто я достала из комода кролика.

— Деньги он тебе предлагал?

— Предлагал. — Сева снова взялся за киянку. — Я не взял.

— А звонить тебе перестали?

Он моргнул.

— Кто?

— Те, кто звонил тебе в четверг. Когда ты просил аванс.

— А. — Он ударил по прокладке, сильнее, чем надо, и царга выскочила из гнезда. — Да. Разобрался.

Я ничего не сказала. Он был у меня с девятнадцати лет, он плакал у меня на верстаке, когда ушёл из дома, и я знала, как он врёт: всегда отвечая на тот вопрос, которого ему не задавали. Но телефон у него больше не дёргался в кармане каждые десять минут. И новые кроссовки были белые, чистые, ещё со складкой на носке.

— Если этот мужик подойдёт ещё раз, — сказала я, — ты мне звонишь. Сразу. Даже если он предложит тебе квартиру на Крестовском.

— Позвоню, — сказал Сева. И я ему почти поверила.

Папка лежала в бюро, бюро стояло за двумя замками в квартире, где хозяин не выходит даже за хлебом. Перепрятать её я не могла, даже если бы захотела. Значит, надо было открыть тайник раньше, чем до него доберётся человек в серой куртке.

В обед позвонил Штерн. Без «здравствуйте», как Сева, только суше.

— Подал, — сказал он. — Районный суд, канцелярия, отметка о приёме у меня на руках. Теперь суд может принять иск, может оставить без движения. Скорость правосудия я не регулирую.

— Аркадий Львович, мне вчера муж сказал, что бумажки теряются.

Пауза. Я слышала, как у него на том конце скрипнуло перо, или что там у него скрипит.

— Записал, — сказал Штерн. — Передайте мужу, что мои бумажки не теряются. У меня копии с отметками лежат в трёх местах, одно из них — кофейня Маргариты Ильиничны. Туда никто в здравом уме не полезет.

Он отключился. Я положила телефон на верстак рядом с разобранным стулом и минуту просто смотрела в окно, на свою дверь с пломбой, с которой голубь уже улетел по своим делам.

* * *

В десять минут восьмого в дверь позвонили, длинно, как звонят люди, которых обычно ждут. Георгий Платонович посмотрел на часы, потом на меня.

— Вы кого-нибудь ждёте? — спросила я.

— Нет.

Вчера он сказал мне «приходите, когда перестанете врать». Сегодня я пришла ровно в шесть.

— Перестали? — спросил он, открыв дверь.

— Нет.

— Проходите.

И мы час работали в такой вежливой тишине, что я слышала, как тикают часы на кухне. Звонок в дверь был почти облегчением, пока я не услышала голос в прихожей.

— Георгий Платонович? Леонид Маркович Гарт. Мы с вами не знакомы, но у нас есть общий интерес.

Гарт вошёл в кабинет, как входят на аукцион: сначала глазами нашёл лот, потом людей. На нём было верблюжье пальто, шарф цвета бордо и запонки с якорями. С якорями. Для адмирала он подобрал якоря, и я чуть не засмеялась вслух.

— Варенька! — Он развёл руками. — Вот кого не ожидал. Хотя нет, ожидал. Город маленький.

— Пять миллионов человек, — сказал Георгий Платонович из дверей.

Гарт оценил реплику, как оценивают чужую мебель, и решил не спорить. Он подошёл к бюро на расстояние вытянутой руки. Остановился. Посмотрел на вензель, на львов, на безухого льва, на горку под откинутой доской.

— Стрешнев, — сказал он почти нежно. — Капитан-лейтенант, Кольский залив. Я ведь тоже был на этих торгах, Георгий Платонович. Сдался на втором шаге. Не мой уровень цен, решил я тогда. Ошибся. Теперь у меня есть покупатель, для которого это как раз уровень.

— Поздравляю.

— Назовите цифру.

— Нет.

— Любую. Я не торгуюсь, когда это бессмысленно. — Гарт улыбнулся, блеснули якоря. — Вы человек военный, вы любите ясность. Вот вам ясность: я дам вдвое против торгов, и ещё столько же за неудобство.

Георгий Платонович стоял в дверях кабинета, не входя. Руки у него были опущены, и стоял он так, что Гарту, чтобы выйти, пришлось бы попросить.

— Леонид Маркович, — сказал он. — Я не продаю то, что не умею купить второй раз.

Гарт помолчал. Потом засмеялся, искренне, с удовольствием.

— Всё покупается второй раз, адмирал. Просто дороже. — Он снова повернулся к бюро. — Позволите взглянуть на горку? Говорят, у Стрешнева там интересные ячейки. Одну минуту.

— Нет.

— Полминуты.

— Варвара Андреевна вас проводит, — сказал Георгий Платонович.

Я проводила. В прихожей Гарт долго наматывал бордовый шарф перед зеркалом и смотрел на меня в отражении.

— Мои десять процентов в силе, Варенька, — сказал он негромко. — И вот ещё что. Подумайте, у кого вы работаете. Человек, который не продаёт ни за какие деньги, обычно знает, что именно купил.

— Он купил бюро своей жены.

— Конечно, — сказал Гарт. — Конечно, жены.

Он ушёл, и на лестнице долго было слышно, как стучат его каблуки.

Георгий Платонович вышел в прихожую, запер оба замка и накинул цепочку. Цепочкой при мне он ещё ни разу не пользовался. Потом вернулся в кабинет и встал у окна, откуда был виден двор и арка.

— Ваш клиент? — спросил он.

— Пять лет. Платит вовремя. Это редкость.

— Он смотрел на центральную секцию.

Я как раз собирала скрутку, и стамеска стукнула о соседнюю.

— Вы что, следили, куда он смотрит?

— Я всегда слежу, куда смотрят люди. — Он не повернулся от окна. — Привычка. На докладе это быстрее, чем слушать.

Он стоял ко мне спиной ещё минуту. Потом спросил, всё так же не оборачиваясь:

— Если суд признает, что банкротство вашего мужа фиктивное. Что будет с ним?

— С Костей? Уголовное дело. Если повезёт.

— А с теми, кто на него работал? С этими мальчиками. Которые расписывались.

Я пожала плечами.

— Не знаю. Наверное, кого поймают, того и посадят. Он же их не спрашивал, хотят ли они.

— Не спрашивал, — повторил он.

— Вам их жалко?

— Я хочу понимать, чего ждать. — Он повернулся наконец, и лицо у него было обычное, спокойное. — Загнанный человек опаснее. Если ваш муж решит, что его сдадут свои, он станет искать, на кого свалить.

— На меня?

— На любого, кто ближе.

Я ждала, что он скажет что-нибудь ещё. Он не сказал. Пошёл на кухню и поставил чайник, и я слышала, как он стоит там, не двигаясь, пока чайник не щёлкнул.

* * *

Ушла я поздно, в двенадцатом часу. Сама не знаю, зачем сидела так долго. Пропитывала трещину на ножке, ждала, пока впитается, пропитывала снова. Он читал. Мы почти не разговаривали, но это была другая тишина, не та, что в шесть.

В прихожей он щёлкнул выключателем. Лампочка под потолком вспыхнула белым, коротко хлопнула и погасла. Стало темно. Только из-под входной двери тянулась жёлтая полоска с лестницы, и в ней было видно его ботинки и мои.

— Перегорела, — сказал он. — Стойте. Сейчас.

— Ничего, я на ощупь.

Я села на низкую табуретку у стены и стала завязывать шнурки, что в темноте заняло вдвое больше времени: пальцы путались, бантик не получался, получался узел. Я слышала, как он снимает с крючка мою куртку. Рабочую, в пятнах морилки, с заплаткой на локте.

Я встала. Прихожая была рассчитана на одного человека и одно пальто, я говорила это ещё в пятницу. Я повернулась к нему спиной, чтобы он подал куртку, и попала в один рукав, потом во второй. Он поднял куртку мне на плечи. Руки у него остались лежать там, на плечах, поверх брезента.

Я обернулась не нарочно, просто хотела сказать «спасибо».

Он был очень близко. В темноте я не видела его лица, видела только светлую полосу рубашки у горла и угадывала остальное. Слышала, как он дышит, ровно и медленно, так же, как во вторник, когда держал над моей головой девяносто килограммов красного дерева. Только теперь между нами не было никакого бюро.

Руки с моих плеч он не убирал. Я не отступала. От него пахло чаем и мылом, и ещё чем-то сухим, как от старой бумаги в архиве. Я подняла лицо. Совсем немного, на ту высоту, на которой поднимают лицо, когда хотят, чтобы это заметили.

Он заметил. Я поняла это по тому, как остановилось его дыхание.

Потом он отступил. На полшага, больше в этой прихожей было некуда. Руки ушли с моих плеч. Между нами сразу потянуло холодом с лестницы.

— Мне пятьдесят четыре года, Варвара Андреевна, — сказал он в темноте.

Голос был ровный. Почти.

— А бюро сто восемьдесят, — сказала я. — И ничего.

В темноте раздался короткий выдох, и я поклялась бы, что это был смех. Потом повернул ручку и открыл дверь. Тусклый свет с лестницы упал на нас. Я увидела его лицо: спокойное, с морщинами у глаз, и только на скуле, под глазом, дёргалась мелкая жилка.

Он протянул руку к полке у двери и снял с гвоздя запасную связку. Два ключа на стальном кольце: старый, длинный, с бородкой, и новый, блестящий, от замка, который в пятницу ставил при мне слесарь.

— Завтра я весь день в академии, — сказал он. — До шести. Работайте.

Он взял мою руку, положил ключи мне на ладонь и сжал мои пальцы вокруг них. Ключи были тёплые. Он держал их в руке, пока мы стояли в темноте, поняла я, всё это время.

«Если меня нет, вас тоже нет». Он сказал мне это в среду, в первый же день.

— Это доверие? — спросила я.

Он посмотрел на меня так, как смотрел на лестницу, когда проверял, не задели ли её грузчики.

— Спокойной ночи, Варвара Андреевна, — сказал он и закрыл за мной дверь.

Глава 8. Ключ в замке

Журавлёв поставил стакан с чаем прямо на стол.

Стол был полированный, ореховый шпон под лаком, когда-то хороший, а теперь в разводах от чужих локтей, и стакан встал на него без подставки, горячий, в облачке пара. Я поморщилась раньше, чем успела себя остановить.

— Что-то не так? — спросил Журавлёв.

— Ничего. Профессиональное.

Он проследил мой взгляд, посмотрел на стакан и улыбнулся виновато, как улыбаются люди, которых застали с ногами на диване.

— А, это. Это ничего, это ламинат.

— Это шпон, — сказала я. — Орех. Под лаком.

— Правда? — Он постучал по столу ногтем, будто проверял. — Достался от прежних хозяев офиса. Я тут, знаете, два года сижу, а и не знал.

Офис был на третьем этаже старого дома на Кирочной, где на одной лестнице уживались стоматология, курсы английского и три фирмы без вывесок. Кабинет маленький, с одним окном во двор, со шкафом, набитым папками-регистраторами, у каждой на корешке фамилия должника крупным почерком. В углу стоял чёрный футляр от скрипки, детский, четвертушка, с наклейкой в виде котёнка.

— Дочь, — сказал Журавлёв, заметив, куда я смотрю. — Из музыкалки приходит сюда и ждёт меня. Играет гаммы, пока я пишу отчёты. Соседи-стоматологи жалуются, говорят, пациенты нервничают. — Он вздохнул. — Я им отвечаю: у вас бормашина, у меня скрипка, мы квиты.

Я засмеялась, хотя не собиралась. Пришла я сюда по делу. Штерн велел взять у управляющего отчёт об оценке бюро, «пока тот вежливый», и я позвонила в девять, а в половине десятого уже сидела у Журавлёва на неудобном стуле для посетителей.

— Отчёт, конечно, — сказал он и сразу достал из шкафа папку. Ту, на которой было написано «Шелест К.». Моя жизнь в регистраторе с железными кольцами. — Копию сделаю. Ваш адвокат хочет оспорить оценку?

— Он хочет посмотреть.

— Правильно хочет. — Журавлёв полистал, нашёл, вынул несколько скреплённых листов и пошёл к ксероксу в коридоре. Вернулся, положил копию передо мной. — Скажу вам как есть, Варвара Андреевна. Оценку я делал сам, по закону имею право. Начальная цена была скромная, я не специалист по антиквариату. Продали втрое дороже. Но если ваш эксперт скажет, что бюро стоило ещё больше, оспаривайте торги по цене. Я возражать не буду. Даже поддержу, если спросят.

— Вы поддержите? Против своих же торгов?

— Я против, когда меня обманывают. — Он снял очки, протёр их краем галстука. — А если я сам ошибся в цене, значит, ошибся. Я не прокурор, Варвара Андреевна. Я бухгалтер с дипломом юриста.

Он снова надел очки и взял стакан. Поднял. На лаке под стаканом остался белый круг, мутный, как туман на стекле. Я смотрела на этот круг и думала, что его можно вывести, если сразу, спиртом и тампоном, через бумагу, а через неделю уже ничем. Журавлёв поставил стакан обратно, чуть левее, и кругов стало два.

— Ваш адвокат, я слышал, ещё и иск о разделе подал, — сказал он. — Вчера.

— Откуда вы знаете?

— Мне положено знать, Варвара Андреевна, я же участник. — Он развёл руками. — Имеете право, я не против. Только не обольщайтесь. Районный суд может оставить иск без

движения, может месяц думать. А торги назначены, и отменять их у меня оснований нет. Кредиторы и так злые. Вы им затягиваете дело, они пишут жалобы на меня.

— Пусть пишут.

— Пишут-то на меня, — сказал он кротко. — Ну ничего. Я привык.

— Филипп Евгеньевич, — сказала я. — Можно, я спрошу не по оценке?

— Спрашивайте.

— Мой муж считает, что я забрала у него какие-то документы. Он мне предложил сделку. Позавчера, в кафе. Мастерскую в обмен на эти документы. Сказал, что поговорит с кредиторами и с вами.

Журавлёв поднял брови так высоко, что очки съехали на кончик носа.

— Со мной? — Он покачал головой, медленно, как человек, которому за неделю это рассказывают пятый раз. — Со мной он может поговорить только в суде. И то через представителя. Нет, Варвара Андреевна, мастерскую я ему по дружбе не отдам. И вам не отдам. Нет у меня такого права.

— Я знаю.

— А документы… — Он сложил руки на столе, поверх двух белых кругов. — Скажу вам по-человечески. Если у вас есть папка с бумагами вашего мужа — отдайте её мне. Это документы должника. Я обязан их изучить, это моя прямая обязанность. Если там что-то есть против него, я первый понесу это в суд. Сделки оспорю, кредиторов его проверю. Это в ваших интересах. Не в его.

Костя, значит, и сюда добрался, пожаловался, что жена унесла папку. Может, и эклеры принёс.

— У меня нет никаких документов, — сказала я.

— Варвара Андреевна. — Он посмотрел на меня поверх очков, устало и почти нежно, как на дочь, которая в третий раз говорит, что выучила этюд. — Я двенадцать лет в этой работе. Жёны всегда что-нибудь забирают. И всегда потом приносят. Только обычно тогда, когда уже поздно.

— У меня ничего нет.

— Хорошо. — Он кивнул, словно другого ответа и не ждал. — Если появятся, вы знаете, где я. Только не носите их к мужу, ради бога. И к покупателю. Он человек посторонний, ему такие бумаги ни к чему.

— Покупатель тут ни при чём.

— Тем лучше. — Журавлёв посмотрел на часы. — Как он вас, кстати? Не обижает?

— Он меня кормит.

Это вырвалось само. Журавлёв засмеялся, тепло и коротко. У него на столе зазвонил телефон, он глянул на экран и сразу стал другим, мягким, домашним.

— Да, зайка. Да, помню. Нет, до-мажор сначала, потом этюд. Я в пять заберу. Шапку надень, там ветер.

Он положил трубку и смущённо улыбнулся мне, будто его поймали на чём-то неприличном.

— Простите. Дома у нас главная она. — И проводил меня до двери. В коридоре пахло стоматологией и мокрыми зонтами. Из-за соседней двери кто-то повторял по-английски «I would like to», по слогам, очень безнадёжно.

* * *

Ключи я держала в кармане куртки всю дорогу, в кулаке, как держат проездной, когда боятся потерять.

На площадке четвёртого этажа я постояла перед зелёной дверью. Царапины на старом замке никуда не делись, три длинные и одна короткая. Под ними блестел новый замок. Я открыла сначала его, потом старый, длинным ключом с бородкой, на два оборота, и дверь открылась без единого звука, потому что петли он, конечно, смазывал.

В прихожей горел свет.

Лампочка под потолком, новая, яркая. Вчерашняя, перегоревшая, лежала на полке у двери, рядом с обувной щёткой, тёмная внутри, как обгоревшая спичка. Он поменял её утром, перед академией. Выбросить не успел или не стал. Я смотрела на эту лампочку дольше, чем она того стоила, потом сняла ботинки и поставила их к стене.

В квартире было тихо так, как бывает только в чужих квартирах. Тикали часы на кухне, во дворе скреблась лопата дворника. Я прошла по коридору в носках. Спальня была открыта, кровать заправлена конвертом. Дверь напротив, в третью комнату, была закрыта, как и всю неделю, что я сюда ходила. Я ни разу не видела её открытой и ни разу не спросила, что за ней. Теперь я постояла перед ней, положила ладонь на ручку и убрала. Это была не моя дверь.

На пороге кухни я остановилась.

На столе, на клеёнке, лежал лист из блокнота, придавленный солонкой. Почерк был мелкий, прямой, буквы стояли, как в строю.

«Суп на плите. Хлеб свежий. Г. О.»

Я перечитала записку дважды, как будто в шести словах мог быть шифр. Хлеб свежий. В субботу я три часа выгоняла его в булочную, а он не пошёл. Сегодня, значит, встал в шесть, сходил, вернулся, поменял лампочку, сварил суп и уехал читать лекции офицерам.

Записку я сложила вчетверо и зачем-то убрала в карман джинсов. Подстаканник стоял на сушилке вверх дном, вымытый, корабль смотрел в стену.

В кабинете было светло и холодно, батарея под окном еле грела. Бюро стояло на своём месте, на свету, с откинутой доской, как я его оставила вчера. Кресло, плед вчетверо. Морские карты на стене. Книжные полки до потолка. И фотография в узкой рамке: женщина с короткой стрижкой, в мужском свитере, смеётся мимо объектива, придерживая шапку.

— Здравствуйте, — сказала я ей. Вслух. В пустой квартире это прозвучало глупо, но я уже сказала. — Я ненадолго. Мне только своё забрать.

Аля смеялась и придерживала шапку. На ветру, у серой северной воды.

Сначала я работала. Честно, час с лишним. Вынула из ножки старую проволоку, которой кто-то в советские годы стянул трещину, вычистила гнёзда, подала клей и затянула струбциной через прокладки. Руки делали всё сами, а я слушала квартиру. Каждый звук с лестницы. Каждый хлопок двери внизу. Один раз зазвонил телефон, и я выронила кисть. Звонил не мой, звонил городской в прихожей, старый, с диском. Он прозвонил восемь раз и замолчал. Я стояла посреди кабинета с липкими пальцами и считала звонки.

В час я съела тарелку супа стоя, у окна, как он ел пирог, и тут телефон у меня в кармане зажужжал. Сева.

«Варвара Андреевна, тот мужик опять у метро стоял. Обводный канал, у выхода. Я его увидел и ушёл через двор. Вы просили сказать».

Я написала: «Молодец. Не подходи к нему». Сева прислал смайлик с поднятым пальцем, и я долго смотрела на этот палец. Человек в серой куртке, который ходит за моим учеником. Человек, который сидел на лестнице этого дома и курил, пока Костя снимал дверь. Может быть, один и тот же. Может быть, их двое. Я подошла к окну кухни и посмотрела во двор: дворник, липа, чья-то «Лада» под снегом. Никого.

Часы над дверью показывали тринадцать двадцать. До шести оставалось четыре сорок.

Хватит.

Я вернулась в кабинет и разложила на газете то, что нужно: тонкий нож, фонарик, пинцет, чистую тряпку. Положила всё в ряд, как перед операцией, и ещё минуту стояла, глядя на горку.

Средний ящичек. Маленький, с костяной ручкой-пуговкой, с латунной накладкой на скважине. Я его сто раз выдвигала в детстве, клала туда фантики от «Мишки на Севере» и «Белочки», а бабушка делала вид, что не знает. Под ним планка. Под планкой защёлка. За защёлкой центральный блок с дверцей, весь целиком, на пазах. За блоком карман. В кармане чёрная папка на резинке, тридцать один лист, которые я в августе пронумеровала карандашом в правом нижнем углу, сидя на полу своей мастерской перед этим самым бюро, при свете настольной лампы, с бешеным сердцем.

Я оглянулась на фотографию. Аля смеялась.

— Не смотрите так, — сказала я. — Это моё.

Я взялась за костяную пуговку и потянула. Ящичек вышел легко, как выходил всегда, с тихим шорохом дерева по дереву. Я положила его на газету донцем вниз. Встала на колени перед бюро. В пустом гнезде было темно, и я не стала включать фонарик: эту планку я знала на ощупь лучше, чем собственную ладонь. Просунула руку в гнездо. Пальцы нашли гладкую кромку, потом нижний край планки, потом то место, едва заметное, чуть вдавленное, куда бабушка когда-то положила мой палец и сказала: «Вот тут. Только никому».

Я упёрлась в него подушечкой пальца.

И в прихожей повернулся ключ.

Я замерла с рукой внутри бюро. Ключ повернулся ещё раз, в новом замке, звонко, на два оборота. Потом заскрежетал в старом.

Было двадцать пять минут второго. Адмирал до шести был в академии, на Выборгской стороне, на другом конце города.

А кто-то открывал его дверь своим ключом.

Глава 9. Пусто

— Пап? Ты дома?

Голос был мужской, молодой, с хрипотцой, как после улицы. Я выдернула руку из бюро, схватила с газеты средний ящичек и вставила его в гнездо. Он вошёл криво, со скрипом, и я вбила его ладонью. Встала. Отряхнула колени. Колени у меня были ватные, и я подумала, что если сейчас войдёт человек в серой куртке, то я умру прямо здесь, на чужом паркете, с пинцетом в кармане.

В дверях кабинета стоял высокий парень в расстёгнутом пальто цвета мокрого песка. Светлые глаза, отцовские, только беспокойные. Тёмные волосы вились надо лбом и явно стоили денег в хорошей парикмахерской. Кроссовки были белые и промокшие насквозь.

— Ой, — сказал он. — А вы кто?

— Реставратор, — сказала я. Это слово за последнюю неделю стало моим паспортом.

— А-а-а. — Лицо у него разгладилось и стало очень обаятельным, сразу, как будто кто-то включил свет. — Реставратор. Папа говорил. Ну, как говорил. Сказал: «У меня реставратор». Для папы это роман в трёх томах. — Он протянул руку. — Платон. Сын.

Рука у него была холодная и влажная. Телефон в другой руке зажужжал, он глянул на экран и сунул его в карман, не ответив.

— Варвара, — сказала я.

— Отчество?

— Андреевна.

— Вот, — сказал Платон с удовольствием. — Сразу видно, папин человек. У него все с отчеством. Он и меня в детстве при гостях называл «Платон Георгиевич», когда я разбил ему модель крейсера.

— А где сам… Георгий Платонович?

— В академии, наверное. Вторник. — Он пожал плечами. — Я за бумагами. У меня тут в комнате диплом валяется и ещё кое-что, для работы надо. Я ему звонил с утра, он сказал: заходи, ключ у тебя есть. — Он посмотрел на меня внимательнее, и что-то в нём на мгновение напряглось. — Он вам дал ключ?

— Дал.

Платон присвистнул сквозь зубы.

— Папа сюда даже домработницу не пускает. Мы ему три раза находили, он всех выставил. Говорит, сам. — Он улыбнулся мне так, будто мы вместе сделали что-то запрещённое. — Вы, видимо, особенная.

Я не нашлась, что ответить. Он и не ждал. Посмотрел через моё плечо на бюро у окна.

— Это оно? Стрешнев?

— Оно. Пойдёмте на кухню, я вам…

— Можно, я тут постою? — Он уже шёл к окну. — Я его только на фотографии видел.

Он остановился у бюро, не вынимая рук из карманов пальто. Посмотрел на вензель, на якорь. Наклонил голову.

— Мама бы с ума сошла, — сказал он, и голос у него стал другой, младше. — Она его десять лет искала. По каталогам, по архивам. Я думал, это как Лох-Несс. Все про него рассказывают, никто не видел. — Телефон в кармане опять зажужжал, он опять не ответил. — Слушайте, а чаю у него нет? Я с утра на ногах, во рту ни крошки. Можно чаю?

Выставить сына из кабинета его отца я не могла. Ящичек стоял на месте, планка была закрыта, а кто не знает про шесть сантиметров и бабушкин секрет, тот эту планку не найдёт. Я пошла ставить чайник. Чайник у него закипал быстро, три минуты. Я достала вторую чашку, нашла заварку в жестяной банке, налила, вернулась.

Платон стоял у бюро, у самой откинутой доски, и держал руку на горке, на ячейке слева от дверцы, и гладил дерево большим пальцем, как гладят кота.

— Не трогайте, пожалуйста, — сказала я резче, чем хотела.

Он отдёрнул руку.

— Простите. Я ничего. Просто… — Он посмотрел на свои пальцы. — Мамина книга. Она про него всё знала. Какие у него были сапоги, кому он писал. А я даже не дочитал черновик.

Чай он выпил в три глотка, обжигаясь. Ушёл в комнату напротив спальни, ту, закрытую, и пробыл там минут пять. Я слышала, как выдвигаются ящики. Вышел с серой картонной папкой на завязках под мышкой и с какой-то коробкой.

— Нашёл, — сказал он. — Спасибо за чай. Папе не говорите, что я без шапки, он меня убьёт.

На лестнице у него зазвонил телефон, и на этот раз он ответил. Я слышала его голос в пролёте, уже без обаяния, торопливый: «Да. Да, понял. Да забрал, говорю, всё забрал». Хлопнула внизу дверь парадной.

Я заперла оба замка. Постояла в прихожей, прислонившись к двери спиной. Потом вернулась в кабинет, села на пол перед бюро и вынула средний ящичек. Включила фонарик, теперь уже включила, и посветила в гнездо.

Волос был порван.

Тонкая тёмная черта поперёк паза, мой волос, приклеенный в августе капелькой рыбьего клея. Капелька была на месте, на планке. А волос висел с одной стороны, оборванный, и второй его конец лежал на стенке, отдельно, как отрезанная нитка.

Я упёрлась пальцем в планку. Защёлка щёлкнула сразу, легко, будто её недавно открывали. Весь центральный блок с дверцей и латунным ключиком подался вперёд на пазах. Я взяла его двумя руками, как берут из духовки противень, вытащила целиком и положила на газету.

За ним был карман, глубокий, на ладонь.

Карман был пуст.

Я посветила внутрь. Дно, стенки, задняя доска. Ничего. Ни папки, ни листка, ни резинки. И пыли тоже не было. В августе я клала папку на вековую пыль, серую, мягкую, как войлок, и должен был остаться след, чистый прямоугольник. Прямоугольника не было. Дно было чистое, протёртое, ни пылинки. А на правом пазу, там, где блок ходит по направляющей, светлела свежая царапина. Узкая, глубокая, от лезвия. Под старым тёмным деревом белела живая сосна.

Кто-то лез сюда ножом.

Я сидела на полу. Не помню, сколько. В голове было пусто так же, как в кармане. Потом пришли мысли, по одной, как стамески из скрутки.

Платон. Две минуты один у бюро, с откинутой доской. «Забрал, говорю, всё забрал». Серая папка под мышкой. Но две минуты, а здесь нож, царапина, протёртая пыль. Он должен был знать, куда жать.

Гарт. Вчера. Но вчера Гарта не пустили дальше вытянутой руки.

Костя. Его человек в серой куртке. Но замок на этой двери тогда поцарапали, а открыть не смогли.

Шесть недель бюро стояло в опечатанной мастерской, и ключи были у Журавлёва. Но во вторник, когда его увозили, волос был цел, я видела своими глазами. И в четверг был цел, я сама его фотографировала.

А в пятницу утром на этой двери появился новый замок, и ключи от него хозяин раздавал сам. А в пятницу ночью…

Шесть сантиметров, жёлтая рулетка на подоконнике и его голос в первый день: «Хочу знать, что купил».

Ключ повернулся в замке в начале четвёртого.

Я не встала. Я сидела на полу перед разобранным бюро, с фонариком в руке, и слушала, как он вешает пальто, как ставит ботинки, как идёт по коридору. Шаги у него были ровные. Он остановился в дверях кабинета.

Он посмотрел на газету, на центральный блок с дверцей, на пустой карман. На меня. Лицо у него не изменилось. Совсем.

— Вы рано, — сказала я.

— Отменили вторую пару.

— Ваш сын был здесь.

Вот тут что-то дрогнуло. Едва-едва, у глаз.

— Платон?

— За дипломом. Стоял у бюро, пока я ставила ему чай. Ушёл с папкой.

— С какой папкой?

— Серой. С завязками.

— Это его диплом, — сказал он. — Он мне звонил. — И помолчал. — Платон не знает, как открывается ящик в его собственном столе.

Я встала. Ноги затекли, и я ухватилась за край бюро.

— Вы открывали тайник?

— Какой тайник?

— Не надо. — Голос у меня сел, и я заговорила тише, чтобы он не сорвался совсем. — Шесть сантиметров. Центральная секция мельче соседних на шесть сантиметров. Вы же всё меряете, Георгий Платонович. Вы мерили его в первый же день.

Он смотрел на меня прямо в глаза, как в пятницу утром на кухне, когда спрашивал, кто знает про бюро.

— Я даже не знал, что там есть тайник, — сказал он.

И не отвёл взгляда.

Я ждала. Секунду, две, пять. Ждала, что он моргнёт, что посмотрит в сторону, на полку, на фотографию, на окно. Девять лет я не замечала, как врёт Костя, и теперь мне казалось, что я научилась. Он не моргнул.

— Кто сюда заходил без меня? — спросила я. — За эту неделю. Вы кого-нибудь пускали?

— Кого я мог пустить, Варвара Андреевна?

— Не знаю. Слесаря. Сына. Гарта, пока я ходила в прихожую.

— Гарт стоял от бюро в вытянутой руке. Вы сами видели.

— А ночью? Вы же не спите по ночам. Вы сами говорили, встаёте в шесть.

— Встаю в шесть, — сказал он. — Это не значит, что я не сплю.

Он отвечал на всё, кроме того, о чём я спрашивала. Я это слышала и не могла ухватить.

— Что там было, Варвара Андреевна? — спросил он.

— В бабушкином бюро. — У меня задрожал подбородок, и я стиснула зубы. — Не ваше дело, что там было.

— В моём бюро.

— В бабушкином!

Я схватила с крючка куртку, сунула ноги в ботинки, не зашнуровывая, и хлопнула дверью так, что на площадке звякнуло стекло в окне. Слетела на пролёт вниз. На втором пролёте остановилась.

Скрутка. Мои стамески, двенадцать штук, в брезенте, на газете у бюро. Журавлёв переписал их по одной, и это было всё, что у меня осталось от мастерской.

Я поднялась обратно. Подняла руку к звонку.

Дверь открылась раньше. Он стоял на пороге и держал мою скрутку, завязанную, с аккуратным бантиком, как я сама её завязываю. Протянул мне.

Я взялась за брезент. Он не отпустил сразу. Мы стояли так, оба держали скрутку, и я смотрела ему в лицо, злая до звона в ушах, а он смотрел на меня, и стояли мы ближе, чем стоят со злости.

— Варвара Андреевна, — сказал он.

— Что?

Он разжал пальцы.

— Шнурки, — сказал он. — Упадёте на лестнице.

Я зашнуровалась на ступеньке, спиной к нему, и он ждал, пока я закончу, и только тогда закрыл дверь. Во дворе я сунула руку в карман и нащупала его ключи. Два, на стальном кольце. Я про них забыла. Возвращаться второй раз я не стала.

Георгий

Я соврал ей в глаза. Первый раз за много лет — человеку, который мне не враг.

Она ждала, что я отведу взгляд. Я знаю этот приём, сам им пользовался, когда принимал доклады у лейтенантов: смотри прямо и жди, кто первый моргнёт. Врать глазами оказалось нетрудно. Трудно стало потом, когда она хлопнула дверью и я остался стоять в прихожей с её стамесками в руках.

Папка в сейфе. Сейф в шкафу, на нижней полке, папка лежит под кортиком. Она сидела от неё в трёх метрах.

Нашёл я её в ночь на двадцать первое, сразу после рулетки. Шесть сантиметров и Алина стрелка на полях: «мельче соседних?» Защёлку сначала искал ножом, в темноте, наугад, и нож соскочил. Царапина на пазу моя. Потом догадался вынуть средний ящичек и нажать на планку снизу. Щёлкнуло, блок пошёл вперёд, волос порвался сам.

Чёрная папка на резинке. Листы пронумерованы карандашом в правом нижнем углу, семёрки с перекладиной, как в её карте реставрации, которую она каждый вечер оставляет на моём столе. На дне кармана в пыли остался прямоугольник. Я стёр его рукавом. Пятьдесят четыре года прожил, ни разу не заметая за собой следов. Не понравилось.

Ключи я отдал ей сам. Хотел, чтобы она открыла тайник одна, увидела, что он пуст, и пришла ко мне сказать, что там было. Тогда сказал бы и я. Она пришла с другим. Пары никто не отменял, я ушёл со второй, потому что не мог сидеть. Платон утром позвонил: заскочит за дипломом. Я сказал: заходи. Про неё не предупредил ни его, ни её. Думал о другом.

Я открывал папку трижды. В первую ночь на полу, при фонаре. В субботу вечером, когда она ушла. Сегодня в шесть утра, перед академией, стоя, в кителе. Каждый раз надеялся, что ошибся.

Расписки. Договоры. Устав. Записка на чужом бланке. И двенадцатый лист по её счёту, на двух страницах: «Соглашение о возврате долей ООО „Балтийская складская компания“». Внизу строка «Генеральный директор» и подпись.

«П. Г. Островский».

Этой подписи я научил его сам. Ему было семь, мы сидели на кухне в Североморске, и он выводил её на обороте квитанции за свет, раз за разом, пока не получилось, как у взрослого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.